



JOURNAL OF FRONTIER STUDIES

ISSUE 1 | 2020

ISSN: 2500-0225

16+

ЖУРНАЛ ФРОНТИРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Научный электронный журнал

**www.jfs.today
www.frontierstudies.com**

№1 (17)

**«ГРАНИЦЫ ИДЕНТИЧНОСТИ И
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ГОРОДА»**

**Выпускающие редакторы:
Жанна Викторовна Николаева, Анна Алексеевна Троицкая**



2020

ISSN: 2500-0225

16+

JOURNAL OF FRONTIER STUDIES

Scientific E-Journal

www.jfs.today
www.frontierstudies.com

№1 (17)

**«BOUNDARIES OF IDENTITY AND SPATIAL
BOUNDARIES OF THE CITY»**

**Guest Editors:
Zhanna V. Nikolaeva, Anna A. Troitskaya**



2020

2020, №1 (17)
Основан в 2016 г.

Выпуск посвящен проблемам формирования, пересечения и трансформации границ в городских пространствах, а также изучению идентичностей, определяющих городской контекст. Исследование круга вопросов, связанных с философией города, предпринято в терминах границ, которые могут быть не только пространственными, но и временными, социальными, символическими или ментальными. Тематика выпуска включает в себя и концепт пограничья, который раскрывается в языковой и литературно-художественной практике. Статьи, вошедшие в эту подборку, объединены поиском специфических соотношений между процессами идентификации и формированием пространственно-территориальных «полей».

Приглашённые редакторы выпуска: Жанна Викторовна Николаева, Анна Алексеевна Троицкая

Данный выпуск журнала публикуется при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-00552 «Проблемы идентичности в зонах культурного отчуждения городской среды» в СПбГУ.

This issue is devoted to the problems of forming, crossing and transforming borders in city spaces, as well as the study of identities that determine the urban "context". Research of the range of issues related to philosophy of the city is undertaken in terms of boundaries, which can be not only spatial but also temporal, social, symbolic or mental. The theme of the issue includes the concept of borderland, which is revealed in language and literary practice. The papers included in this collection are united by the search for specific relationships between the identity processes and the formation of spatial-territorial "fields".

Guest Editors: Zhanna V. Nikolaeva, Anna A. Troitskaya

The reported study was partly funded by RFBR according to the research project № 18-011-00552 at SPSU".

Сетевое издание Журнал фронтальных исследований (Journal of Frontier Studies) является периодическим научным изданием, не имеющим печатной формы, и выпускается с 2016 года. В сетевом издании публикуются научные статьи, рецензии, информационные ресурсы, отчеты об экспедициях, конференциях и прочие научные материалы.

Решением президиума ВАК РФ это сетевое издание было включено в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (по состоянию на 26.12.2019 года) под номером 921 по следующим специальностям:

07.00.02 – Отечественная история (исторические науки);

07.00.03 – Всеобщая история (соответствующего периода) (исторические науки);

24.00.01 – Теория и история культуры (исторические науки);

Мы выходим ежеквартально 4 раза в год.

Рабочими языками сетевого издания являются русский и английский

Сетевое издание посвящено актуальным вопросам в сфере исследований фронтальной теории, пограничья и приграничья, проблем межкультурной коммуникации в контактных зонах, а также вопросам функционирования фронтальных тропов в современной массовой культуре.

Цель проекта: Создание виртуальной площадки для обмена мнениями и дискуссий в области фронтальной теории.

Исходя из цели, мы стремимся к тому, чтобы наше сетевое издание выполняло важные научные функции – коммуникативную и информационную, которые позволят не только аккумулировать новые достижения в этой области, но и послужат основой для новых открытий и озарений.

Сетевое издание выступает с позиций принципов диалога культур и устранения условий для конфликта цивилизаций. Оно придерживается принципов философии ненасилия, культурной и религиозной толерантности. Редакция преследует цель устранения языковых барьеров и уважительного отношения к границам национальной

культуры каждого народа, проживающего на маленькой планете Земля.

Основные отрасли наук, в рамках которых могут быть опубликованы материалы в данном издании, это:

07.00.00 – Исторические науки;

24.00.00 – Теория и история культуры.

09.00.00 – Философские науки;

10.01.00 - Литературоведение.

Но это совсем не означает, что статьи и иные материалы авторов, написанные в других отраслях науки, будут категорически отвергнуты. Мы приветствуем статьи по проблемам фронта, написанные с позиции самых разнообразных наук или на стыке нескольких наук, так как такой подход, по нашему мнению, может оказаться наиболее действенным и позволяющим взглянуть на известные проблемы под новым углом.

Все материалы, поступающие в редакцию, проходят тщательный отбор и отправляются на двойное слепое рецензирование. Поэтому любая антинаучная и не подкрепленная фактологически статья будет отклонена редакторами. Мы не публикуем работы, в которых выказывается неуважительное отношение к другим народам или имеются неполиткорректные формулировки.

Все статьи публикуются в журнале бесплатно, но и гонорар авторам не выплачивается.

- Государственная регистрация в Роскомнадзоре: Свидетельство о регистрации СМИ (электронная версия): Эл № ФС77-61330 от 07 апреля 2015 г.
- ISSN: 2500-0225
- Опубликованные в журнале материалы предназначены для лиц старше 16 лет

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Сергей Николаевич Якушенков, д.ист.н., профессор, профессор кафедры Зарубежной истории и регионоведения, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Астрахань, Россия

ПРИГЛАШЁННЫЕ РЕДАКТОРЫ НОМЕРА (GUEST EDITORS):

Жанна Викторовна Николаева, к. филос. н., Институт Философии СПбГУ / Центр изучения зон культурного отчуждения и пограничья СИ РАН, Санкт-Петербург, Россия

Анна Алексеевна Троицкая, к. искусствоведения, Институт Философии СПбГУ / Центр изучения зон культурного отчуждения и пограничья СИ РАН, Санкт-Петербург, Россия

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:

Растям Туктарович Алиев, кандидат исторических наук, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Анна Петровна Романова, д.филос.н., профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Россия

Элина Алиевна Саракаева, к.филол.н., Хайнаньский профессиональный колледж экономики и бизнеса Хайкоу, Китай

Наталья Сергеевна Канатьева, к.биол.н., доцент, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Россия

Эмилия Анваровна Тайсина, д.филос.н., профессор, ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», Россия

Michael Khodarkovsky, Ph.D. in History, professor of Loyola University Chicago, USA

Isabeau Vollhardt, B.A. Philosophy/English University of Washington, USA

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Сергей Николаевич Якушенков, д.ист.н., профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Россия

Растям Туктарович Алиев, к.ист.н., ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Россия

Елена Васильевна Морозова, д.филол.н., профессор, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Россия

Мария Михайловна Федорова, д.полит.н., Институт философии РАН, Россия

Андрей Вальтерович Гринев, д.ист.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Россия

Максим Валерьевич Кирчанов, д.ист.н., доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Россия

Сергей Вадимович Виноградов, д.ист.н., ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Россия

Елена Евгеньевна Завьялова, д.филол.н., ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Россия

Людмила Васильевна Бурькина, к.ист.н., ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», Россия

Сергей Александрович Троицкий, к.филол.н., РГПУ им. А.И. Герцена, Центр изучения зон культурного отчуждения и пограничья Социологического института РАН - Филиала ФНИСЦ РАН, РАН, Россия

Michael Khodarkovsky, Ph.D. in History, professor of Loyola University Chicago, USA

Matthew P. Romaniello, Ph.D. in History, professor of Weber State University, USA

Robert P. Geraci, Ph.D. in History, professor of University of Virginia, USA

Willard Sunderland, Ph.D. in History, professor of University of Cincinnati, USA

Nathan Hopson, Ph.D. in History, professor of Nagoya University, Japan

Piotr Gorecki, Ph.D. in History, professor of University of California, Riverside, USA

Andrei Znamenski, Ph.D. in History, professor of The University of Memphis, USA

Dittmar Schorkowitz, Ph.D. in History, professor, Max Planck Institute for Social Anthropology, Germany

КОНТАКТЫ:

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Генезис.Фронтир.Наука»

Адрес редакции: 414050, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Геологов, д. 85, кв.2

Главный редактор:
Сергей Николаевич Якушенков
Email: editorialboard.jsf[at]gmail.com

Дирекция журнала:
Растям Туктарович Алиев
Email: rastaliev[at]gmail.com

Все статьи публикуются в авторской редакции. Мнение редколлегии журнала может не совпадать с мнением авторов.

ВВЕДЕНИЕ

- Николаева Жанна Викторовна, Троицкая Анна Алексеевна**
Дискурс об идентичности как способ осмысления городского пространства 11

ГРАНИЦЫ ИДЕНТИЧНОСТИ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ГОРОДА

- Пирни Альберто**
Отчуждение, транзитивность и признание: нормативные архетипы для пересечения городских социальных пространств 29
- Королева Влада Владимировна**
Социальное положение женщин в городах США в 1960-е - 1980-е гг. 40
- Тави Лэйла**
Послевоенные эвристические стратегии исключения и включения в московскую архитектуру 54
- Чуракова Полина Сергеевна**
Дачные пригороды Санкт-Петербурга как зона культурного пограничья 83
- Пеллони Габриэлла (автор), Саракаева Элина Алиевна (переводчик)**
Переходы в романе «Промежуточные станции» Владимира Вертлиба 95
- Волощук Евгения**
Швабский плуг в украинском небе: литературные репрезентации немецко-украинского пограничья в дискурсе памяти о волынских немцах (на материале творчества Г.-У. Трайхеля) 112
- Дуда Кшиштоф (автор), Туровский Роман (переводчик)**
Преодоление границ по Станиславу Винценцу как источник творчества 126
- Кривенькая Марина Александровна**
Особенности пограничья культурных сред в терминологии межкультурного взаимодействия 142

ПЕРЕВОДЫ

- Колесникова Дарья Алексеевна**
Предисловие к переводу эссе М. Хайдеггера «Строительство Жительствование Мышление» (1954) 153
- Хайдеггер Мартин (автор), Колесникова Дарья Алексеевна (переводчик)**
Строительство Жительствование Мышление 157

INTRODUCTION

- Zhanna V. Nikolaeva, Anna A. Troitskaya**
Discourse on Identity as a Way of Understanding Urban Space 11

BOUNDARIES OF IDENTITY AND SPATIAL BOUNDARIES OF THE CITY

- Alberto Pirni**
Exclusion, Transition, and Recognition: Normative Archetypes for Crossing Urban Social Spaces 29

- Vlada V. Koroleva**
The Social Position of Women in Cities in the USA during the 1960s-1980s 40

- Leila Tavi**
Postwar Heuristic Strategies of Exclusion and Inclusion in Moscow Architecture 54

- Polina S. Churakova**
St. Petersburg Datcha's as a Cultural Frontier Zone 83

- Gabriella Pelloni (author), Elina A. Sarakaeva (translation)**
Transitions in the Novel *Zwischenstationen* by Vladimir Vertlib 95

- Ievgeniia Voloshchuk**
A Swabian Plow in the Ukrainian Sky: Literary Representations of the German-Ukrainian Borderland in the Memory Discourse on the Volhynian Germans (Based on the Works by Hans-Ulrich Treichel) 112

- Krzysztof Duda (author), Roman Turovskii (translation)**
Crossing Borders According Stanisław Vincenz as a Source of Creativity 126

- Marina A. Krivenkaya**
Specificities of Cultural Environments Frontier in the Terminology of Intercultural Interaction 142

TRANSLATION

- Daria A. Kolesnikova**
Foreword to the Translation of Martin Heidegger's Essay "Building, Dwelling, Thinking" (1954) 153

- Martin Heidegger (author), Daria A. Kolesnikova (translation)**
Building, Dwelling, Thinking 157



DISCOURSE ON IDENTITY AS A WAY OF UNDERSTANDING URBAN SPACE¹

Zhanna V. Nikolaeva (a), Anna A. Troitskaya (b)

(a) St. Petersburg State University. 7/9 Universitetskaya emb., St. Petersburg, Russia, 199034. E-mail: z.nikolaeva[at]spbu.ru; zh.v.nikolaeva[at]gmail.com

(b) St. Petersburg State University. 7/9 Universitetskaya emb., St. Petersburg, Russia, 199034. E-mail: annatroitckaya[at]gmail.com

Abstract

The article formulates a range of problems related to both the contemporary Philosophy of the City and studies of the semantic space of the urban environment. The multidirectional intentions of the authors of this issue are summarized with a search for specific links between identity processes and the formation of spatial-territorial “fields”. This view lets us focus on the study of the urban environment in the 21 century including describing space in the city as “zones of cultural exclusion” (such as closed access areas, marginalized territories and other geographically isolated spaces) in their correlation with urban cultural topos.

Modern meta-cities as huge public spaces require discourse on identity and identification within the current Philosophy of the City. The “reassembling” of urban spaces, according to the actor-network theory, is considered in the context of rethinking the questions of urban identities.

Issue’s focus is on the boundaries of identity and spatial boundaries in the city as well as on cultural and social practices that transform territorial barriers, remove old ones and contribute to the emergence of new ones. There is a connection between this modern phenomenon and the historical processes preceding it. The article provides examples of such an appeal to the experience of the past. Among the other approaches to this topic, the article presents studies completed on literary material, where the search for identity occurs in the conditions of constructing or overcoming borders. The ways of cultural identity are traced, including these of language and border areas of language culture.

Keywords

Philosophy of the City; borders; identity; urban environment; urban space; social space; borderlands; literary discourse; interculturality; boundary construction



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

¹ The reported study was partly funded by RFBR according to the research project № 18-011-00552 at SPSU.

ДИСКУРС ОБ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК СПОСОБ ОСМЫСЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА¹

Николаева Жанна Викторовна (а), Троицкая Анна Алексеевна (b)

(а) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб. д. 7. E-mail: z.nikolaeva[at]spbu.ru; zh.v.nikolaeva[at]gmail.com

(b) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб. д. 7. E-mail: annatroitckaya[at]gmail.com

Аннотация

В статье формулируется круг проблем, связанных как с современной философией города, так и с исследованиями семантического пространства урбанизированной среды. Обобщаются разнонаправленные интенции авторов настоящего выпуска, объединенные поиском специфических соотношений между процессами идентификации и формированием пространственно-территориальных «полей». Данный исследовательский ракурс ориентирует нас на изучение городской среды XXI века, в том числе и с использованием методологии описания пространства в городе как «зон культурного отчуждения» (зоны закрытого доступа, зоны общего доступа, депрессивные зоны, торговые кварталы, промышленные зоны, места туристической привлекательности, сакральные места, места топоса власти, руины, музейные кварталы, спальные районы этнические и социальные гетто, маргинализированные территории и иные географически изолированные пространства) в их корреляции с городскими культурными топосами. Современные мета-города как огромные публичные пространства создают необходимость дискурса об идентичности и идентификации места в рамках Philosophy of the City, что подразумевает изучение не только взаимодействия человека с материальными объектами, но и с сетями и субъектами социальной реальности. «Пересборка» урбанистических пространств, согласно акторно-сетевой теории, рассматривается в контексте переосмысления ответов на вопросы о городских идентичностях. В центре внимания авторов статей выпуска, посвященного границам идентичности и пространственным границам в городе, оказались культурные и социальные практики, которые трансформируют территориальные барьеры, удаляют старые и способствуют появлению новых. Между этим современным явлением и историческими процессами, предшествующими ему, существует связь: в статье приведены примеры такого обращения к опыту прошлого. Среди подходов к данной теме представлены исследования литературно-художественной топологии, где поиски идентичности также происходят при условии конструирования или преодоления границ. Прослеживаются пути культурной самоидентификации, в том числе через язык и пограничные области языковой культуры.

Ключевые слова

Философия города; границы; идентичность; городская среда; городское пространство; социальное пространство; пограничье; литературный дискурс; межкультурное взаимодействие; конструирование границ



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-00552 в СПбГУ.



ВВЕДЕНИЕ

Современный город может быть представлен в виде переплетенных сетей, образ которых проявляется не только в воспроизводимом аэрофотосъемкой рисунке городских улиц и проспектов, но и набором иных траекторий нефизического свойства. Сеть различных, пересекающихся между собой, городских практик сформирована множеством способов социального взаимодействия, экономическими и культурными трансформациями, специфическими соединениями повседневных действий, обусловленными реально существующими и виртуальными стратегиями освоения современного городского пространства.

Ускорение и мобильность культурной среды города растворяют устоявшиеся понятия, связанные с классической урбанистикой, и с феноменом городских идентичностей в частности. Все это создает необходимость ведения дискурса об идентичности и идентификации в методологическом поле современной философии города. Ряд новых подходов в социальной теории способствовал отходу от трактовки социальных коалиций (групп) как субстанциональных общностей – носителей определенных идентичностей. Прежде всего, этому способствовал интерес к сетевым формам отношений, которые постоянно утверждают или, в терминах акторно-сетевой теории, «пересобирают» социальное (Latour, 2005). Теория социальных пространств, связанных с единичными и групповыми идентичностями, изучает и воображаемые пространства, которые появились благодаря способности человека обладать «социологическим воображением», по определению американского социолога Чарльза Райта Миллса (2001). «Спатиализмы» (пространственные формы, олицетворяющие социальную деятельность в материальных пространствах) Мишеля Фуко (2006) и Анри Лефевра (2010) лишь частично объясняют роль бессознательного в формировании метафизических пространств закрытого доступа. М. Фуко предложил рассматривать пространство как «следствие целенаправленных мысленных или философских усилий» (Замятин, 2006, стр. 24). Будущее рисуется как процесс все большего вовлечения в различные сети коммуникации, в процессы ускоряющейся дигитализации, то есть в сторону все большей усложненности города. Таким образом, мы исследуем город в качестве сетевого объекта, а его пространство — как наполненное смысловым содержанием, обусловленным соотношением и работой этих сетей.

«Город – топологически множественный объект, существующий одновременно в сетевом и евклидовом пространстве (более корректно, но менее грамотно: «имеющий две формы пространственности»)» (Вахштайн, 2014, стр. 27), множественная природа городского пространства, выходящего за рамки географических координат города, позволяет говорить о наборе культурных идентичностей, как целостных и в то же время подвижных образований в социальном контексте и в метафизике городской среды.

В центре нашего внимания также оказались культурные и социальные практики, которые удаляют старые границы территорий и способствуют появлению новых; они же создают рисунок городской среды с новыми функциональными и семантическими пространствами.

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД КАК МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ

В последнее десятилетие сформировался круг проблем философской направленности, прочно связывающий роль идентитарных процессов с образованием пространственно-территориальных «полей» в городской среде. «Феноменологический и герменевтический аспекты идентичности горожанина связаны с проблемой границ человеческого «я», с границами города, линиями размежевания внутри самого города...» (Николаева & Носков, 2019, стр.110). Смысловое наполнение пространства во многом определяет переживание внутреннего единства (или разлада) человека с миром. Кристофер Тилли, занимающийся проблемами антропологии и феноменологии ландшафта, описал этот процесс через ряд вопросов:

«Кто мы? Что связывает нас вместе и чем мы отличаемся от других? Что такое наше прошлое и где наше будущее? Как нам найти себе место в этом мире? Каковы наши традиции и как мы реагируем на новое? Как мы представляем себя и что для нас важно? Все это классические вопросы социальной идентичности. Такие вопросы вышли на первый план в социальной теории в течение последних двух десятилетий в рассуждениях о ландшафте, месте и наследии. Глобализация, быстрое развитие многокультурных городских обществ, растущее влияние многонациональных корпораций и рост «гибкости», а также сопутствующая этому незащищенность на рынке труда, диаспоры и крупномасштабные перемещения и перемещения людей, туризм и путешествия, интернет и



разрушающееся чувство пространства и времени, – все эти и многие другие факторы заставляют людей задавать вопросы об идентичности» (Tilley, 2006, p. 8).

Осознание себя и своего фактического места в пространстве происходит как осознание другого, и этот другой из прошлого (или виртуального будущего) явлен нам в своих телесных расширениях — архитектурной оболочке, размещенной в городских пространствах.

Бесконечная диалектика городских границ открывается уже в изучении стратегий освоения городского пространства: в городе мы и воспроизводим свой дом, *domus* (в терминологии М. Хайдеггера — дом бытия), сакральное пространство, закрытое от чужих глаз, то есть пространство *о-граниченное*. В то же время мы находимся, взаимодействуем друг с другом и в огромном публичном пространстве. Нам представляется, если границы между государствами могут быть снесены (как Берлинская стена в 1989 году) или быть флюидными, то в городе они куда как более материальны, а их непроницаемость обеспечивается, кроме самих каменных стен и замков-запоров, — секьюрити, электронными картами доступа и, наконец, формированием городской метафизики, закрепляющей на века в сознании горожан незыблемость и непроницаемость границ имеющих идентичностей.

В последнее время усилилось явление закрытого (или обнесенного стеной) сообщества, содержащего строго контролируемые входы и закрытый периметр стен и заборов¹. Забор, как считает профессор Валерий Савчук, определяет основы нашей культуры. Ему присущи функции медиа. Разделяя, он обозначает, демонстрирует социальное условие, порядок вещей (Савчук, 2012, стр. 105). Иногда окружение стенами означает защиту, иногда это означает добровольное исключение, иногда процесс происходит как результат идеологических, религиозных, социальных противоречий на общей территории. Но и эти барьеры трансформируются, стираются, на их месте могут быть воздвигнуты новые, доказывающие динамичность и изменчивость города как социальной структуры, следовательно, и возможности формирования новых идентичностей.

Пространства обитания человека в городе, таким образом, могут быть исследованы с помощью ризоматического моделирования: с

¹ Этот процесс является предметом изучения теихополистики (от греческого *το τεῖχος* – городская стена), теории формирования как физических, так и ментальных границ. Этот феномен изучается также в дисциплинарном поле практической философии в разделе, изучающем функционирование закрытых социальных групп (ЗСГ).

помощью представления структур топографического пространства не в традиционных бинарных оппозициях (центр/периферия; высшее/низшее; власть/анархия; вне/внутри; свое/чужое), а как делающих пространство (и его отображения) потенциально неограниченными. Современные мегаполисы на спутниковой видеосъемке — это огромные пульсирующие звезды разнородной плотности и различных форм. У Делеза и Гваттари изображение на карте никогда не является законченным (Делез & Гваттари 2010), город, как и ризома, нигде не начинается и не заканчивается. Отдельные «территориальные поля», продолжая эту теорию, следует признать хранилищами (или источниками энергии) исходящего бытия.

В то время как современная культура приобретает «гибридные» или «креолизованные» формы (Hannerz, 1992), нет никакой универсальной модели города, городского пространства или же универсального портрета горожанина: город создается суммой городских идентичностей, каждая из которых формируется городской средой. Благодаря системным глобальным процессам (Friedman, 1994), диаспорам и миграциям людей, мир все больше «детерриториализируется» (Bauman, 1992; Appadurai, 1996), и, следовательно, трансформируются и пространственные значения. Территориальные, ментальные или фантомные границы представляют собой мобильный, изменчивый контекст для формирования и выражения культурной идентичности. Само понятие идентичности может быть представлено как дискурсивный конструкт, а идентификация — как непрерывный «процесс артикуляции, склеивания и переопределения, а не категоризации» (Hall, 1996, p. 3). В этот процесс включено обозначение символических границ, также подверженных реконструкции и трансформации.

В проблематике пространственных границ есть феноменологический аспект, представленный в настоящем выпуске в эссе **М. Хайдеггера «Строительство жительство мышление»¹**, которое мы публикуем впервые в переводе на русский язык, сделанном **Дарьей Колесниковой**. Текст посвящен смысловой интерпретации строительства как форме бытия в контексте проблем современной М. Хайдеггеру архитектурной и градостроительной

¹ В русскоязычной литературе эссе чаще упоминается как «Строить. Жить. Мыслить», но в предлагаемом переводе эти разрозненные действия заменены существительными (что, в целом, обнаруживает большее соответствие с оригинальным названием — «Bauen Wohnen Denken» (Heidegger, 1997) и, к примеру, с его переводом на английский язык), подчеркивающими процесс, непрерывность и длительность которого очевидна из попытки всех трех обозначений действий слиться в одно, прерываемое лишь парой пробелов между ними.



мысли. Предлагаемые немецким философом устойчивые формулы «строить-жить», «строить-мыслить» одновременно являются тремя модусами повседневности — «строительство-жительство-мышление». Через языковые конструкции М. Хайдеггер обосновывает соотношения этих модусов и описывает суть единственно возможного понимания оснований жизни и города, как пространства для жизни. Согласно этому тексту, интерпретация городской среды символически формирует картину мира индивида, но эта интерпретация зависит от его первоначальных жизненных установок. В качестве границ или пределов пространства, открываемых вокруг мест, рассматривается понятие *горизонта*, служащего также метафорой контекста человеческого существования. В своем предисловии к эссе Д. Колесникова обращает наше внимание на его основные концепции, выделяет ключевые в теории Хайдеггера понятия, связанные со средой обитания, местом и идентичностью.

ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Предлагаемый выпуск посвящен изучению и философскому осмыслению взаимного признания, отторжения и онтологии пространственных границ в городе. Культура, прошлое, идентичность сегодня становятся для нас конструктами. Для большинства людей собственная идентичность воспринимается как данность, как некое базисное условие, не подлежащее обсуждению или анализу, но философия идентичности связана с современным знанием, подрывающим этот незыблемый фундамент. Городская идентичность как городской тип личности, предложенный Г. Зиммелем (Зиммель, 2002), уже не может быть воспринята целостно. Социопсихологическое состояние городского культурного типа индивида изучено мало, но очевидно, что оно характеризуется определенными маркерами (городские мифы, коды памяти, образы, поведенческие нормы, антагонистические тенденции), которые объединяют и разграничивают различные городские сообщества.

Исходя из понимания бесконечной и своеобразной энтропии современного города и городского метанарратива, невозможно представить его (город) без характеристики пространств, которыми он обладает и в котором он расположен. Один из способов такого описания города — использование теории «пересечения социальных пространств» (*“intersection of social spaces”*) — описывается в статье Альберто Пирни **«Exclusion, Transition, and Recognition: Normative Archetypes for Crossing Urban Social Spaces»**, опубликованной в

этом выпуске журнала. В попытке воспроизвести универсальную модель взаимодействий субъекта с социальным пространством за пределами городского контекста, А. Пирни исследует эти действия или отношения с помощью применения трех модусов: отчуждения, транзитивности и признания. Рассуждая о формах идентичности, он останавливается на определении форм инаковости, которые также определяются тремя предложенными модусами/архетипами, и потому достаточно вариативны. Сам метод изучения городских социальных пространств не только как закрытых, защищенных границами образований, но как пространств, пересечение которых возможно и разнообразно, вносит в наше понимание города новую динамическую величину.

Исследование обществ и сообществ, фрагментирующих городское пространство, включает в себя изучение отдельных социальных событий или феноменов, порожденных условиями, сформировавшимися в городской среде. Избран для выявления границ закрытых сообществ гендерную проблематику, **Влада Королева** сфокусировала внимание на примерах социальной адаптации женщин в городах США 1960-х–1980-х годов. Проблемы, рассматриваемые в ее статье **«The Social Position of Women in Cities in the USA during the 1960s-1980s»**, связаны с женским образованием, работой, положением в семье, отношениями в обществе и государственной позицией. Преодоление границ, выстраиваемых в ряде случаев на правовом, а иногда — исключительно ментальном уровне, привело к появлению «женских пространств», которые помогли бы женщинам не только выйти из домашнего заключения, но и разрешить сложные жизненные ситуации. Приюты, женские медицинские центры, женские библиотеки, книжные клубы и детские сады — все это помогло американской женщине выйти из пространства отчуждения и получить новые возможности для саморазвития. В статье акцентируется распределение мужских и женских территорий города в отмеченный период, в соотношении с понятиями центра и периферии. Вместе с тем, примеры образования «женских пространств» свидетельствуют не только о преодолении границ, но и о выстраивании новых, маркирующих исключительно *женское* в городе: способ, характерный для движения феминизма второй волны. Вполне конкретные географические границы города и его окраин создают в этом контексте сложную и интересную для анализа картину, связанную с символическим и социальным пространством зон отчуждения.



«В постинформационном обществе, где господствует «General Intellect» (П. Вирно), актуальными объектами для изучения становятся такие культурные противоречия, как утилитаризм, материализм, национализм, религиозный фундаментализм, традиционализм, характеризующиеся своими собственными «культурными зонами отчуждения». Например, в структурах современных мегаполисов основными критическими зонами, где эти противоречия наиболее очевидны, являются городские окраины» (Nikolaeva & Troitskiy, 2018, p. 9).

Пределы этих окраин размыты, и речь идет не только о вызванных процессами джентрификации смещениях «периферийных колец» города к центру, но и размывании границ города и пригорода. Современные российские мегаполисы являют тому пример: новостройки перемежаются с сельской местностью и коттеджными поселками, дачные участки и садоводства возникают в непосредственном соседстве с новыми районами города или же примыкают к пригородным территориям, но иногда оказываются вынесенными далеко от города.

Дача как уникальный элемент русской культуры и как ее социальный феномен все больше вызывает интерес исследователей, отечественных и зарубежных (Struyk & Angelici, 1996; Lovell, 2003; Caldwell, 2011). В статье **Полины Чураковой «Дачные пригороды Санкт-Петербурга как зона культурного пограничья»** рассматривается период, когда загородная жизнь приобрела характер массового социального явления и сформировалось особое городское сообщество, получившее название «дачники». Дачные пригороды в статье представлены как новые для своего времени социокультурные пространства, созданные в результате взаимодействия нескольких культур, в том числе городской и загородной. И здесь характерно не только пограничное положение дачной территории, но и совокупность практик, характерных как для резидентов сельской местности, так и для горожан. В статье проведен подробный анализ этих занятий, определяющих идентичность обитателей дач и специфику дачного сообщества в конце XIX – начале XX вв., времени, когда это сообщество представляло собой сложное, но, в отличие от начала XXI века, однородное явление.

ТРАНСФОРМАЦИИ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Представление городского пространства в философском аспекте предполагает обнаружение и исследование культурных практик, которые стирают старые границы и способствуют появлению новых. Этим процессом отчасти обусловлена неоднородность городской среды. Особый интерес в этом смысле представляет изучение отдельных «забытых» территорий, «темных пятен» на карте города, «вспыхивание» и «затухание» которых образует динамический мерцающий узор. Как нам рассматривать эти тёмные пятна? Как отдельные «забытые» места, зоны умолчания и забвения? Как зоны власти над остальной территорией? Это могут быть и свалки, и руины, и кладбища, но также и закрытые фонды музеев, огороженные парки, засекреченные милитаризованные зоны, кварталы ограниченного доступа, места отбывания наказаний, фавелы и другие типы маргинализированных территорий.

Частично к таким пространствам можно отнести и некоторые «не места», описанные Марком Оже (2017): недолговечные и анонимные локации транзита для новой кочующей идентичности. Последние также связаны с явлениями бессмысленного существования: не запоминаемого, неизбежного в заброшенности, в отсутствии. И те, и другие в нынешних городских центрах занимают значительное пространство, создавая территории отчуждения и представляя собой барьеры для развития потоков городской жизни. Признавая значимость городских пустот, сопоставляя их с привычными повседневными городскими объектами, что, по мнению А. Аккермана (Akkerman, 2009), соответствует ницшеанскому различию между дионисийским (пустоты) и аполлоническим (рациональный город), мы отказываемся от ведущего положения одних и подчиненного — других.

Однако смещение границ городского культурного ландшафта происходит не только по горизонтали, и доминирование тех или иных территорий может определяться не только плотностью застройки и сетей коммуникации, развитием инфраструктуры, социальной средой. Городские образования маркируются с помощью архитектурного облика, стилистики, которые, в свою очередь, являются формами репрезентации культурной памяти. Концепт городского пространства раскрывается в статье Лейлы Тави «**Postwar heuristic strategies of exclusion and inclusion in Moscow architecture**» («Послевоенные эвристические стратегии отчуждения и инклюзии в архитектуре Москвы») через временные отношения и урбанистические стратегии



прошлого. История Вавилонской башни, первого задуманного человечеством небоскреба, напоминает, что пределы все же существуют.

Трансформация архитектурных форм связана и с трансформациями внутри общества. Лейла Тави останавливает наше внимание на том, как распространение территорий города выходит за рамки горизонтальной плоскости в плоскость иную, казалось бы, не имеющую границ. На примере высотных зданий Москвы, на сопоставлении двух эпох высотного строительства может быть исследован современный мегаполис, где небоскребы должны стать символом социальных перемен. Новые высоты, как и их монументальные предшественницы сталинской эпохи, включаются в качестве ведущего архитектурного элемента в дискурс власти, а сама башенная форма, естественно, является негласным олицетворением авторитаризма. Архитектура метафорична, и проанализированные в статье примеры дают основания для глубоких интерпретаций. Современная Москва — многонациональный мегаполис, обитатели которого бросают вызов законам гравитации, а ее новые, головокружительной высоты здания вновь превращают столицу в невероятную урбанистическую лабораторию.

ПОИСК ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛИТЕРАТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

Размышления над формированием городской метафизики, явленной нам в городских пространствах, их границах, проницаемости и неприкосновенности, не раз становились основой литературного сюжета. Марку Оже принадлежит также мысль о том, что «город романен»:

«Город существует благодаря сфере воображаемого, которая в нем рождается и в него возвращается, той самой сфере, которая городом питается, и которая его питает, которая им призывается к жизни, и которая дает ему новую жизнь. Интерес к эволюции сферы воображаемого вполне оправдан: сфера эта затрагивает как город (с его константами и изменениями), так и наши взаимоотношения с образностью, которая также подвержена изменениям – подобно городу и обществу» (Оже, 1999).

Действительно, пространство, в том числе городское, метафорично, образно, и потому способно конструировать новую, воображаемую реальность, существующую внутри литературно-художественного дискурса. Автобиографичность, попытка автора преодолеть через письмо травматичный опыт прошлого, фиксация межграничных и транзитных состояний в жизни лирического героя, поиски идентичности происходят в контексте пространственных границ в пределах города, и только это долгое время являлось единственным осмыслением пространственности в европейской культуре.

Корни, пути идентичности, череда перемещений, названий имен городов становятся ключевыми для анализа **Габриэлла Пеллони («Переходы в романе «Промежуточные станции» Владимира Вертлиба»)**, где городское пространство становится то контуром, то фоном, на котором высвечиваются основные события жизни лирического героя. Транскультурное состояние героев связано и с этими поисками, и с собственными пространственными перемещениями в поисках желаемого, окончательного дома-*domus*'а. Нужен ли вечному номаду город? Основные вопросы, с помощью которых автор статьи находит интерпретационный ключ к роману Вертлиба, — это проблемы еврейской идентичности, эмиграции, памяти, европейской истории XX века. В романе упоминаются события в их выборочности, словно обрывки истории, сформированные в его сознании коллективной памятью, специфичность этих воспоминаний лирического героя связана с ощущением городских пространств. Габриэлла Пеллони подчеркивает, что в основе сюжета лежит кажущееся бесконечным путешествие, но это не только географическое перемещение, но и путешествие героя/автора к самому себе.

Девятнадцатый век для Европы как период глобального переселения сельского населения в города обозначил неизжитый до сих пор травматический опыт двух идентичностей, которые бы древнегреческие философы соотнесли бы с *полисом* и *хорой*. *Mittel-*европейская литература и культура наиболее остро переживали процессы урбанизации и формирования буржуазного общества, как это представлено в великой литературе выходцев из Австро-Венгерской империи. На периферии этих глобальных трансформаций находятся герои романа «Анатолин» Г.-У. Трайхеля, творчеству которого посвящена статья **Евгении Волощук «Швабский плуг в украинском небе: литературные репрезентации немецко-украинского пограничья в дискурсе памяти о волынских немцах**



(на материале творчества Г.-У. Трайхеля)». «Белые пятна» семейных воспоминаний оказываются совместимы в романе с топографическими «белыми пятнами» или пустотами. Для исследования способа репрезентации этого пространства использован картографический инструментарий, в частности, понятие ментальных карт, культурных и исторических границ, метафора контурной карты. Конструкт немецко-украинского пограничья проанализирован через топографический образ, способствующий формированию идентификационной модели Восточной Европы. Поэзия Трайхеля наполнена метафорическими элементами — река, небо, поле, болото, — которые вырисовывают ментальный ландшафт семейно-родовой памяти героя. В литературном контексте ярче и образнее проявляет себя феномен *фантомных границ*, то есть границ, продолжающих структурировать пространство даже после их физического исчезновения¹.

Страна множества городов, страна литературного философа **Кшиштофа Дуды** имеет огромный опыт пересечения границ, физических и ментальных. Этот опыт исследуется на примере творчества польского литератора, переводчика и философа Станислава Винценца. В статье **«Преодоление границ по Станиславу Винценцу как источник творчества»** раскрываются основные идеи преодоления границ, территориальных, внешних, и собственных, внутренних. Не задумываясь о проблемах городской среды, автор статьи рассматривает философские проблемы вынужденности на примере смены мест обитания, которые стали для Винценца импульсом к созданию повести «Послевоенные перипетии Сократа». Он затрагивает важные вопросы самоопределения, сохранения личностной идентичности, самообновления.

Различные культурные концепты и их взаимоотношения с языком — еще один фактор, определяющий идентичность и ее границы. «Язык может быть сформулирован, например, как продукт или как маркер самоидентификации. Культура в новую эпоху рассматривается главным образом с точки зрения субъективных смыслов, которые носители языка ассоциируют с опытом» (Sharifian, 2017, p. 135). **Марина Кривенькая** рассматривает **«Особенности пограничья культурных сред в терминологии межкультурного**

¹ Проблема фантомных границ в европейских и российских исследованиях приобрела особую актуальность в два последних десятилетия. Интерес к этой теме подогревается острыми вопросами, связанными с политической историей и политической географией, напряжением в сфере международной политики, а также с поисками национальных идентичностей. Теоретические подходы к понятию фантомных границ сформулированы Л. Бялашевичем (Bialasiewicz, 2009), Ф. Бийе (Billé, 2013) и рядом других исследователей.

взаимодействия» как терминологические проблемы в описании проявлений межкультурного диалога в русскоязычной и англоязычной практике. Исследуя специфику терминологии в сфере пограничных исследований, она анализирует такие термины как «поликультурный (policultural)», «мультикультурный (multicultural)», «кросскультурный (cross-cultural)» и «межкультурный» (intercultural) с точки зрения способов разграничения, обусловленных теми или иными средовыми и национальными концептами. Лингвокультурология с ее междисциплинарным охватом открывает большие перспективы для работы в сфере изучения пограничных пространств культуры и может быть использована в качестве аналитического инструмента для изучения проблем идентичности с привлечением специалистов из самых разных областей гуманитарного знания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Говоря о феномене городских идентичностей, мы рассматриваем, главным образом, соотношение различных культурных практик, пересекающихся между собой и пересекающих условные внутренние и внешние границы города. Сам образ города при этом не лишен индивидуальности, поскольку в ежедневных проявлениях он не только создается, но также интенсивно воспринимается и воссоздается снова. В плоскостях, несоразмерных друг другу, в пересечениях границ пространство города предстает, в первую очередь, наполненным смысловым содержанием. Оно не может быть сведено к общей характеристике, к совокупности индивидуальных целей, забот и желаний, к классификации или типологии фрагментированных культурных образований.

Коммуникативные системы, лежащие в основе жизни города, предполагают также обращение к прошлому, восприятие его моделей в языке, литературе, архитектуре, визуальных образах, традициях и обычаях. Так, через пласты истории и современности формируются представления о городе, выходящие за рамки территориальных; город может рассматриваться как изменчивая пространственно-сетевая структура, обладающая устойчивым ядром организации смыслов.

Предпосылки любого исследования границ идентичности и пространственных границ заставляют отказаться не только от попыток создания типовой модели жителя того или иного города (москвича, петербуржца, парижанина), что лишено какой-либо актуальности в современных условиях, но и от принятия городской



идентичности как целостного культурного типа, охарактеризованного определенными маркерами.

Многие вопросы городских исследований, которые осуществляются с помощью идентитарных понятий остаются открытыми; предложенные в данном выпуске ракурсы фиксируют специфические состояния и очертания городских границ. Отдельные аспекты жизни городских сообществ, формирование менталитета в образах городской архитектуры, реконструкция границ в человеческой памяти с помощью литературного сюжета, — все эти темы предполагают различные подходы к изучению идентичности, являя ее как междисциплинарную категорию. Вместе с тем, предложенный в качестве определяющего аналитического инструмента пространственный концепт раскрывает дополнительные возможности исследования социальной реальности в контексте философии города. В качестве направлений для будущих исследований границ идентичности и пространственных границ города, по мнению авторов выпуска, могут быть выделены: феноменология идентичности места, уточнение определений городской среды с использованием достижений новейшей философии пространства, а также междисциплинарные исследования флюидности границ.

Список литературы

- Akkerman, A. (2009). Urban Void and the Deconstruction of Neo-Platonic City-Form. *Ethics, Place & Environment. A Journal of Philosophy & Geography*, 2(12), 205–218.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis; London: University of Minnesota Press.
- Bauman, Z. (1992). *Intimations of Postmodernity*. London, New York: Routledge.
- Bialasiewicz, L. (2009). Europe as/at the border: Trieste and the meaning of Europe. *Social & Cultural Geography*, 10(3). 257–269.
- Billé, F. (2013). Territorial phantom pains (and other cartographic anxieties). *Environment and Planning D: Society and Space*, 31(1) 163–178.
- Caldwell, M. (2011). *Dacha Idylls: Living Organically in Russia's Countryside*. Berkeley: University of California Press.
- Friedman, J. (1994) *Cultural Identity and Global Process*. London, Thousand Oaks, California: SAGE.

- Hall, S. (1996). Introduction. Who Needs 'Identity'. In S. Hall & P. Du Gay (Eds.) *Questions of cultural identity*. London: Sage, 1996.
- Heidegger, M. (1997). Bauen Wohnen Denken. In *Vorträge und Aufsätze* (s. 120–180). Stuttgart: Neske Verlag.
- Hannerz, U. (1992). *Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning*. New York: Columbia University Press.
- Latour, B. (2005). *Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Lovell, S. (2003). *Summerfolk: A History of the Dacha, 1710-2000*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Nikolaeva Zh. & Troitskiy S. (2018). An Introduction to Russian and International Studies of Cultural Exclusion Zones. *Rivista di Estetica, n.s.*, 67(1), LVIII, 3–19.
- Sharifian, F. (2017) *Cultural Linguistics. Cultural conceptualisations and language*. Amsterdam/PA: John Benjamins. (Cognitive Linguistic Studies in Cultural Contexts, 8).
- Struyk, R. J. & Angelici, K. (1996). The Russian Dacha phenomenon. *Housing Studies*. 11(2), 233–250. DOI: 10.1080/02673039608720854
- Tilley, C. (2006). Identity, Place, Landscape and Heritage. *Journal of Material Culture*, 11(1/2), 7–32. DOI: 10.1177/1359183506062990
- Вахштайн, В. С. (2014). Пересборка города: между языком и пространством. *Социология власти*, 2, 9–38.
- Делез, Ж. & Гваттари Ф. (2010) *Тысяча плато. Капитализм и шизофрения*. Пер. с фр. и послесл. Я. И. Свирского. Екатеринбург: У-Фактория, Москва: Астрель.
- Замятин, Д. Н. (2006). *Культура и пространство. Моделирование географических образов*. Москва: Знак.
- Зиммель, Г. (2002). Большие города и духовная жизнь. *Логос*, 3-4, 23–34.
- Лефевр, А. (2010). Социальное пространство. *Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре*, 2(70), 3–14.
- Миллс, Ч. Р. (2001). *Социологическое воображение*. Пер. с англ. О. А. Оберемко. Москва: Издательский Дом NOTA BENE.
- Николаева, Ж. В. & Носков, А. А. (2019). Рефлексия феномена времени в онтических контурах Санкт-Петербурга. *Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре*, 1(123), 107–114.
- Оже, М. (1999). От города воображаемого к городу-фантазии (пер. В. Мизиано). *Художественный журнал*, 24. Retrieved from <http://moscowartmagazine.com/issue/75/article/1623>



- Оже, М. (2017). *Не-места: введение в антропологию гипермодерна*. Перевод с фр. А. Ю. Коннова. Москва: Новое литературное обозрение.
- Савчук, В. В. (2012). Забор как вид медиа. *Международный журнал исследований культуры*, 4(9), 105–111. Retrieved from [https://culturalresearch.ru/files/open_issues/04_2012/IJCR_04\(9\)_2012_Savchuk.pdf](https://culturalresearch.ru/files/open_issues/04_2012/IJCR_04(9)_2012_Savchuk.pdf)
- Фуко, М. (2006). Другие пространства. В: *Интеллектуалы и власть* (стр. 191–204). Москва: Праксис.

References

- Akkerman, A. (2009). Urban Void and the Deconstruction of Neo-Platonic City-Form. *Ethics, Place & Environment. A Journal of Philosophy & Geography*, 2(12), 205–218.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis; London: University of Minnesota Press.
- Augé, M. (1999). From the city of the imaginary to the city of fiction (transl. V. Misiano). *Moscow Art Magazine*, 24. Retrieved from <http://moscowartmagazine.com/issue/75/article/1623> (In Russian)
- Augé, M. (2017). *Non-places: an introduction to hypermodern anthropology*. Transl. A. Yu., Konnov. Moscow: New Literary Observer. (In Russian)
- Bauman, Z. (1992). *Intimations of Postmodernity*. London, New York: Routledge.
- Bialasiewicz, L. (2009). Europe as/at the border: Trieste and the meaning of Europe. *Social & Cultural Geography*, 10(3). 257–269.
- Billé, F. (2013). Territorial phantom pains (and other cartographic anxieties). *Environment and Planning D: Society and Space*, 31(1) 163–178.
- Caldwell, M. (2011). *Dacha Idylls: Living Organically in Russia's Countryside*. Berkeley: University of California Press.
- Deleuze, G. & Guattari, F. (2010) *A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia*. (Transl. and afterglow. by Ya. Svirskiy) Yekaterinburg: U-Factoriya, Moscow: Astrel. (In Russian)
- Foucault, M. (2006). Other Spaces. In *Intellectuals and power. Selected political articles, speeches and interviews* (pp. 191–204). Moscow: Praksis. (In Russian)
- Friedman, J. (1994) *Cultural Identity and Global Process*. London, Thousand Oaks, California: SAGE.

- Hall, S. (1996). Introduction. Who Needs 'Identity'. In S. Hall & P. Du Gay (Eds.) *Questions of cultural identity*. London: Sage, 1996.
- Hannerz, U. (1992). *Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning*. New York: Columbia University Press.
- Heidegger, M. (1997). Building Living Thinking. In *Lectures and essays* (pp. 120-180). Stuttgart: Neske Verlag. (In German)
- Latour, B. (2005). *Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Lefebvre, H. (2010). Social space. *Neprikosnovennij Zapas. Debates on politics and culture*, 2(70), 3–14. (In Russian)
- Lovell, S. (2003). *Summerfolk: A History of the Dacha, 1710-2000*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Mills, C. W. (2001). *The Sociological Imagination* (transl. O. Oberemko). Moscow: Nota BENE Publishing House. (In Russian)
- Nikolaeva, Zh. & Troitskiy, S. (2018). An Introduction to Russian and International Studies of Cultural Exclusion Zones. *Rivista di Estetica, n.s.*, 67(1), LVIII, 3–19.
- Nikolaeva, Zh. V. & Noskov, A. A. (2019). Reflection of the Time Phenomenon in St. Petersburg's Ontic Contours. *Neprikosnovennij Zapas. Debates on politics and culture*, 1(123), 107–114. (In Russian)
- Savchuk, V. (2012). The Fence as a Kind of Media. *International Journal of Cultural Reserch*, 4(9), 105–111. Retrieved from [https://culturalresearch.ru/files/open_issues/04_2012/IJCR_04\(9\)_2012_Savchuk.pdf](https://culturalresearch.ru/files/open_issues/04_2012/IJCR_04(9)_2012_Savchuk.pdf) (In Russian)
- Sharifian, F. (2017) *Cultural Linguistics. Cultural conceptualisations and language*. Amsterdam/PA: John Benjamins. (Cognitive Linguistic Studies in Cultural Contexts, 8).
- Simmel, G. (2002). The Metropolis and Mental Life. *Logos*, 3-4, 23–34. (In Russian)
- Struyk, R. J. & Angelici, K. (1996). The Russian Dacha phenomenon. *Housing Studies*. 11(2), 233–250. DOI: 10.1080/02673039608720854
- Tilley, C. (2006). Identity, Place, Landscape and Heritage. *Journal of Material Culture*, 11(1/2), 7–32. DOI: 10.1177/1359183506062990
- Vakhshain, V. S. (2014). Reassembling the City: between space and speech. *Sociology of power*, 2, 9–38. (In Russian)
- Zamyatin, D. N. (2006). *Culture and space. Modeling geographic images*. Moscow: Znak. (In Russian)



EXCLUSION, TRANSITION, AND RECOGNITION: NORMATIVE ARCHETYPES FOR CROSSING URBAN SOCIAL SPACES¹

Alberto Pirni (a)

(a) Sant'Anna School of Advanced Studies. Piazza Martiri della Libertà, 33, 56127 Pisa PI, Italy.
Email: alberto.pirni[at]santannapisa.it

Abstract

The paper intends to explore three archetypes of possible interaction between the agent and the social space in which one's own action is located. In this article, we will talk about modalities endowed with normative significance, that is focused around universal scopes and extra-contextual validities (values). Special attention will be paid to the dimension of the “intersection of social spaces” (the scheme assumes both the permanent dimension of “acting within spaces” and the dynamic dimension of “passing beyond them”), the modalities of exclusion, transition, and recognition are thus presented. Their action is complicated by alternative intersection paths in introdynamic and extradynamic dimensions. The study proposes to represent these modalities in order to further offer scenarios for the development and change of urban social spaces.

Finally, the paper intends to propose a phenomenological interpretation of their possible interaction with reference to some ways of transforming urban spaces, which are typical of the European context.

Keywords

Urban spaces; urban communities; urban planning; urban philosophical anthropology; extra-contextual validities; exclusion; transition; recognition; intersection; transforming urban spaces



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

¹ The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-011-00552 at SPSU.

ОТЧУЖДЕНИЕ, ТРАНЗИТИВНОСТЬ И ПРИЗНАНИЕ: НОРМАТИВНЫЕ АРХЕТИПЫ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОРОДСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ¹

Пирни Альберто (a)

(a) Школа перспективных исследований имени Святой Анны. Piazza Martiri della Libertà, 33, 6127
 Pisa PI. Италия. E-mail: alberto.pirni[at]santannapisa.it

Аннотация

Данная статья направлена на исследование трех архетипов возможного взаимодействия субъекта с социальным пространством, в котором происходит действие. В статье рассматриваются модальности, наделенные нормативным значением, т.е. сфокусированным вокруг универсальных сфер действий и внеконтекстуальных валидаций (ценностей). Особое внимание уделяется измерению «пересечения социальных пространств» (схема предполагает как перманентное «действие в пространствах», так и динамический «выход за их пределы»), таким образом, представлены модусы исключения, перехода и признания. Их действие осложняется существованием альтернативных путей пересечения в интродинамическом и экстрадинамическом измерениях. В исследовании предлагается представить эти модальности, чтобы в дальнейшем предложить сценарии развития и изменения городских социальных пространств.

Наконец, в работе предлагается феноменологическая интерпретация их возможного взаимодействия применительно к некоторым способам трансформации городских пространств в европейском контексте.

Ключевые слова

Городское пространство; городские общины; городское планирование; городская философская антропология; внеконтекстуальные обоснования; отчуждение; транзитивность; признание; пересечение; трансформация городского пространства.



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-00552 в СПбГУ.



PREMISE-PRELIMINARY LINES FOR AN URBAN PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY

The paper tries to present a specific part of the research agenda I've been conducting in Pisa over the past few years and which is still on the way¹. The focal point could be summarized in the formula which I used in my last book: *the challenge of living together* (Pirni, 2018b). What I'm going to present in this context is an attempt to develop some correlative issues linked to the same main core, namely, issues related to the contexts in which that challenge might take place, having in mind – firstly, but not exclusively – the urban contexts².

I would like to introduce the argumentative path as follows. First, I shall offer a preliminary account about what I'm calling "urban philosophical anthropology". Then, I will present a theoretical path related to the topic that takes advantage from addressing two methodological issues. The first one concerns the correlative concepts of identity and the otherness in the urban context. The second issue requires a more precise, namely a more specific definition of what is the "intersection of social spaces". Accordingly, we will talk about what I call "normative archetypes" that connotes the very idea of the "crossing urban spaces", by presenting three of such archetypes (by recalling the Weberian use of the word): *Exclusion*, *transition* and *recognition*. Finally, I'm going to propose a comprehensive interpretation of the interplay among them, within a phenomenological point of view.

What is meant when we talk about what we might call a "urban philosophical anthropology"? I would like to introduce this concept as a sort of methodological tool finalized to a better understanding of our contemporary urban daily life.

When we talk about urban philosophical anthropology we are alluding to a context in which an agent has to deal with an urban social space, whatever we stipulatively decide to define it. The simplest and the phenomenologically reduced situation contemplates two concepts: the concept of *agent* – a person who can spend time in a specific space, by performing certain actions, and, correlatively, the concept of a *context* that gathers such actions, namely, the urban social space itself. The agent is an

¹ This essay reproduces the oral talk delivered with the same title and presented at the Herzen State Pedagogical University of Russia, within the Interdisciplinary Round Table «The Problem of Identity in Cultural Exclusion Zones of the Urban Environment – 2» (Saint Petersburg, 4-5 October 2019). The original argumentative line and the style of a public talk has been conserved in the present version. The author expresses his sincere thanks to Ms Vlada Koroleva, for her help in realizing the text, and to Prof. Zhanna Nikolaeva and Prof. Anna Troitskaya, for their friendly understanding and support in finalizing it.

² In this sense, the present essay could be understood as a point of development of the topic already shared with Zhanna Nikolaeva. (See: Nikolaeva & Pirni, 2018).

individual, a living creature that exists and pursues its own and specific goals related to the achievement of her individual wellbeing. It is a definition that might be easily understood as uncontroversial and universally shared.

Moreover, the second concept, *urban social space*, is a provisional term that I would like to introduce here. An *urban social space* (hereinafter: USS) is a whole of «significance»; a set of tangible and intangible social constructions that are a matter of “not-indifference” for each single agent. From here on, the normative challenge related to the interplay between agent and urban social space can start becoming clear. I’m proposing to consider and analyze here “archetypes” that have a universal, anthropological validity.

THREE METHODOLOGICAL PREMISES

In order to pursue this goal, three methodological premises are required. The *first* one is related to the research path mentioned at the very beginning, namely: the problem of coexisting, or the challenge of living together. In a nutshell, we could summarize that issue as the challenge of sharing of the same times and the same spaces by individuals and groups that are – and want to be recognized as – *different*, from an ethical, cultural and social point of view (and any other related to individual/collective forms of life), and, at the same time, as *equal*, from the point of view of the entitlement to the same rights (Pirni, 2018b, Ch.5,6, 8).

The current position of a person in society is devoid of unambiguity and clear certainty, which was described by Z. Bauman in the metaphors of “liquidity” (Bauman, 2000). The world requires a constant and increasingly contradictory search for identity and tracking parameters for new forms of socialization. The rationale is here the relationship and the possible modalities of interaction the self and the other (by phenomenologically reducing to this thin concept any other and more “thick” meaning of the same figure, as the alien, the visitor, the stranger, the enemy, and so on). In “The Challenge of Living Together”, I proposed the relationship between the self and the other, by introducing three archetypes or three different but interrelated modalities for depicting the other. In the present context, I would like tentatively to propose an enlargement of that rationale, by including in the same schema the relationship between the self and the USS, and by considering this relationship in line of similarity with the first. As it should be clear, the basic implication is the assumed similarity between the concept of otherness and the concept of space or, in other terms, the stipulation according to which, per analogy, we are used to deal



with the USS by putting in action the same modalities that we use for relating with another self (understood as other).

Starting from this point, we can move to the *second methodological premise*. Accordingly, after having recalled three typologies of otherness, we can highlight correlative typologies of interrelation with them. The forms of otherness we would like to introduce here are the following: the *wall-otherness*, the *other-mirror-otherness* and the *door-otherness* (Pirni, 2018b, Ch.2)¹.

The first framing and model of otherness can be qualified as the *wall-otherness*. Phenomenologically speaking, this framing of otherness precedes any other. That is to say, the Other is ascertained, at first as the edge, or as the barrier that prevents our will and our power to act. In this first modality, the other is defined as alien, dissonant, opposite. The *second framing* of otherness could be named as the *mirror-otherness*. The other is perceived first of all as someone who recognizes us because of our similarity (we mutually recognize each other). Our life pattern, value system and purposes of coexisting could be shared with this type of other. This other is a *euphonic other* (similar to a consonant letter) with values along similar lines to ours. The third framing and model is offered by the figure of the *door-otherness*, echoing what George Simmel introduced in “The Bridge and the Door” (Simmel, 1985). The door represents a radical way to distinguish, as well as to unite, it is two sides of the same coin of unity and differentiation. The Otherness of medium unification, meaning that it determines both the duality and the individuality. This contour of Otherness allows us to sum up the subtotals.

All three models of otherness enable us to address the question of identity, to answer the question “Who am I?” The first model ideally answers the question *ex contrario* (“I am not the other”; “I am against the other”). The second model implies a convergent type of answer, what we could call *ex harmony* (“I am the same as the other”). The third model provides for including the other into our group. Thus, the answer here to the question “Who am I?” is the *process* (I am *with* and *through* the other). The way we formulate the experience of ourselves through the procedurally, that is resembles the process of development of Hegel dialectics (thesis-antithesis-synthesis).

Starting from this comprehensive framework, we can finally approach the *third methodological premise*, namely, the explicit linkage of this entire rational to the perspective of USS. At this level, one can single out several

¹ A different but interrelated point of view is proposed in A. Pirni, Zh.V. Nikolaeva, S. Ignatieva, «Mutual Recognition: A First Philosophical Dialogue Between Italian and Russian Perspectives», (2020), forthcoming. A preliminary framing of the same issue is offered by A. Pirni (2009).

basic modules, what I call *intra-dynamic* and *extra-dynamic* dimensions. The first one alludes at a permanent, namely static state of affairs. The point of departure is always the relationship between the self and the USS. The first dimension alludes to the relationship which is possible by standing and remaining within a single space: I am here, and I am moving at the same time – but without leaving that space. This implies a permanent staying and a progressive intensification of the relationship. Nonetheless, from a farther point of view, the same relationship is understood as a sort of static state of affairs: in the end, I am always in interplay with the same space. However, when we start considering the interrelation with USS, it is also necessary to insert in the comprehensive picture what I call the extra-dynamic dimension, that is, the intersection of several mutually different spaces, which, for the most part, are well determined and (formally or informally) enclosed. Here the reference scenario is a constant moving across spaces that are apparently open, but, in reality, reciprocally closed and independent one from another. The thing might be depicted in very simple ways. Let's conceive the daily experience related to the move from a room to another one, or from a specific building from the city center. How can I move from this room to another room, or from this building to the city center? Let's imagine the experience of going beyond a specific territory that I perfectly know, then to the city center, then to the outskirts, and then going beyond the borders of the city. We maintain as open the possibility of coming back, but the constitutive capability of moving, of constant crossing USS – not just for a journey, but also along a discrete amount of time – delivers specific effects on the single self that we are surely not so used to consider, from a social-philosophical point of view.

NORMATIVE ARCHETYPES: EXCLUSION, TRANSITION, RECOGNITION – A SYNTHETIC ACCOUNT

Now, the methodological premises above just minimally outlined may constitute a sort of theoretical framework in which insert the three modalities of crossing USS we announced at the very beginning. In stylistic accordance with the synthetic path here sketched out, in what follows we shall present just a minimal draft of a more ambitious research project which is still in draft and is waiting to be developed in details¹. We shall then present three normative archetypes related to the dimension of

¹ I had the opportunity to present a subsequent segment of that articulation in the “Interdisciplinary Round Table ‘Space of the City. Identity & Philosophy’” (Saint Petersburg State University, November 20, 2019), by delivering a paper on the topic: “The City of Limit / the Limit of the City. A Tribute to Remo Bodei”. At present, a synopsis of this paper is available in: Kolesnikova, D. et al., Critical review of the materials presented in the international round table “City space: Identity and Philosophy” (2019).



Crossing Urban Social Spaces (CUSS), that is: *exclusion, transition, recognition*.

Following the preliminary premise, we shall consider these archetypes in line of continuity with the three model of otherness we outlined above, namely the *wall-otherness*, the *other-mirror-otherness* and the *door-otherness*. As for the first archetype, the exclusion one, we shall assume then the preliminary reference and its intrinsic linearity with the «wall-otherness».

In this context, we will very briefly outline this concept, which is the justification for the line of succession of key studies presented by Prof. Zhanna Nikolaeva (Nikolaeva & Pirni, 2018; Nikolaeva, 2019). In order to minimally present the overall picture in this way, we should have in mind the approaches to determining the definition of a *wall-otherness*, and how much they coincide with the issue jointly explored among colleagues.

Then, what is *exclusion* at all? Exclusion, reshaped within the conceptual vocabulary of the wall-otherness, is a cognitive and practical refusal to consider specific USS. The exception in our case is the archetypal image, it may not coincide with the social isolation that is widely understood today, and many studies have been devoted to various aspects of it. In particular, B. Barry examines economic aspect of social exclusion using the concepts of voluntary self-isolation, social justice and social solidarity (2002). There are different ways for pursuing this task. Just to list some of them, we could mention firstly the creation of cultural or physical boundaries, secondly, the creation of structural or meta-structural restrictions, and the last, but no less critical, is the implementation of the processes of ghettoization (in order to arrive to the present day gathered communities). These specifications have already been addressed in another step of our shared research project (Pirni, 2018a)¹.

As for the second archetype, namely, the transition. What is transition? We have to assume first that transition is directly related to the form of otherness we called the *mirror-otherness*. We proceed to the last point, to the concept of punctual self, this is an essential concept in order to understand the meaning of transitivity. What is punctual for me? Punctual self, this is a complete critical immersion in myself, where I feel here. I am here; I am entirely immersed in my I, I am part of myself. I have no critical observations, considerations of what is and what surrounds me. I am just here; I just exist here in the now, I exist in me.

¹ Furthermore, as the history of Western civilization teaches us, this is only one of the possible modalities to contemplate the concept of “exclusion”. Other and correlative in-depth research might be delivered about African and Chinese civilization, but also South America is of extreme interest about this point, from a socio-anthropological point of view. We started considering these methodological aspects with Prof. Nikolaeva.

Now let's move to the third archetype, that we call *recognition*¹. Furthermore, here you can draw a parallel with the otherness of the door. I want to introduce you to the following important point, the moment of entry and intersection of urban social spaces. You must be sure that the agent exists, that urban social spaces exist, but most importantly, that they resist. They not only exist but also provide resistance; they are not so easy to change. This is what concerns our housing, our existence, our community, changes here are problematic. It is fixed; it is defined.

According to this third and last archetype, urban social spaces are considering space and self, specifically taking into account the very idea of the single self. This assumes, of course, a historical understanding of urban social spaces, a historical understanding of the context. But also we are talking here about understanding ourselves — an individual who also contributes to the development and change of urban social spaces. Furthermore, the last characteristic is an eternal constant connection, eternal constant discrimination — permanent ongoing dialogue with the agent and urban social spaces. And then, things get more complicated. Why? Because all these archetypes work, they exist, but they do not exist in isolation from each other, they work together and simultaneously. It is necessary to imagine a world in which none of these archetypes exists in a vacuum and is not a unique driver of otherness. Here we need to go beyond the concept of duality in order to avoid an epistemological trap. That is, the proposed archetypes should not be perceived as opposites (I am against them, here against there, you need to do this, they do something, we are the coolest, and they are not so cool) and their existence will not be the only determinant of a particular phenomenon in urban space.

DEALING WITH COMPLEXITY

Let me insist on a specific point: it is necessary to avoid such duality in the interpretation of the concept, and go beyond any logic of such duality, and there any other oppositions that may arise in normative archetypes. Exception against transitivity, alienation against recognition, it is necessary to depart from all these dual categories. And still more complicated. It must be understood; it must be remembered that here we must also consider our second premise on the introdynamic and extradynamic dimensions, which I spoke about earlier. It is effortless to preserve our cognitive abilities; we can say here we have two different

¹ Of course, we are aware about the immense literature related to this concept. As anticipated, we can't offer even a minimal account of it in the present context. For an extended account of the specific meaning we are using in the present context, let me recall *La sfida della convivenza* (Pirni, 2018b, Ch. 4).



modalities. One in enclosed spaces, the other modus intersection from one space to another.

Nevertheless, this is a very simplified, crystallized form of what is actually happening. Furthermore, I would like to emphasize this at the end of my essay, we need to know about the existence of alternative paths in which coexistence occurs. When there are forms of the intersection of spaces, but at the same time, there are forms of subdivision of spaces, which at the same time remain within the framework of one space. One way or another, we can exist and live in one space using the structure of alienation, transitivity and recognition. We interpret, we decide which archetype we will pay attention to, which archetypes we will consider when we exist. This is precisely what I wanted to say, we must know about their existence, we must understand that there is no simple single-valued solution, and it is impossible. Our dimension, our destiny, our destination, if it exists. In that, we understand the existence of various urban social spaces and the eternal dynamics of interaction, in which we, perhaps, have the moral right to contribute.

References

- Barry, B. (2002). Social exclusion, social isolation and the distribution of income. In P. Agulnik, J. Hills, J. Le Grand & D. Piachaud (Eds.), *Understanding Social Exclusion* (pp. 13-29). Oxford: Oxford University Press.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity.
- Kolesnikova, D., Nikolaeva Zh., Pirni A. & Tsarev A. (2019). Critical review of the materials presented in the international round table "City space: Identity and Philosophy". *Veche. Almanac of Russian Philosophy and Culture, 1*, 214-229. (In Russian).
- Nikolaeva, Zh. V. & Pirni, A. (2018). Confini e zone di esclusione nella civiltà urbana contemporanea. Spunti per una riflessione interdisciplinare [Borders and exclusion zone in the urban contemporary civilization. Hints towards an interdisciplinary understanding], *Cosmopolis. Rivista di filosofia e teoria politica, XV* (1-2), Retrieved from: <https://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XV122018&id=14>
- Nikolaeva, Zh. V. (2019). An exception as a rule. Boundaries and exclusion in the history of urban civilization. Abstracts of the conference report. *Mechanisms for formation of cultural exclusion and frontier zones – 2019. Conference schedule and materials* (pp.

- 74-75). St. Petersburg: Sociological Institute RAS – Branch Federal Science Sociological Centre RAS.
- Pirni, A. (Ed.). (2009). *Logiche dell'alterità* [Logics of Otherness], Pisa: ETS.
- Pirni, A. (2018a). Intergenerational Dwelling: The Right to Transform, the Duty to Preserve, *Studia Culturae*, 37(3), 137-143. (In Russian).
- Pirni, A. (2018b). *La sfida della convivenza. Per un'etica interculturale* [The Challenge of Living Together. Towards an intercultural ethics], Pisa: ETS.
- Pirni, A., Nikolaeva, Zh. V. & Ignatieva, S. (2020). Mutual Recognition: A First Philosophical Dialogue Between Italian and Russian Perspectives, *Vestnik of Saint-Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies*, forthcoming.
- Simmel, G. (1985). Bridge and Door. *Lotus International*, 47. 52–56.

Список литературы

- Barry, B. (2002). Social exclusion, social isolation and the distribution of income. In P. Agulnik, J. Hills, J. Le Grand & D. Piachaud (Eds.), *Understanding Social Exclusion* (pp. 13-29). Oxford: Oxford University Press.
- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity.
- Nikolaeva, Zh. V. & Pirni, A. (2018). Confini e zone di esclusione nella civiltà urbana contemporanea. Spunti per una riflessione interdisciplinare [Borders and exclusion zone in the urban contemporary civilization. Hints towards an interdisciplinary understanding], *Cosmopolis. Rivista di filosofia e teoria politica*, XV (1-2), Retrieved from: <https://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XV122018&id=14>
- Pirni, A. (2018a). Место обитания поколений: право на обновление и обязанность сохранения, *Studia Culturae*, 37(3), 137-143.
- Pirni, A. (2018b). *La sfida della convivenza. Per un'etica interculturale* [The Challenge of Living Together. Towards an intercultural ethics], Pisa: ETS.
- Pirni, A. (Ed.). (2009). *Logiche dell'alterità* [Logics of Otherness], Pisa: ETS.
- Pirni, A., Nikolaeva, Zh. V. & Ignatieva, S. (2020). Mutual Recognition: A First Philosophical Dialogue Between Italian and Russian Perspectives, *Vestnik of Saint-Petersburg University. Philosophy and Conflict Studies*, forthcoming.



Simmel, G. (1985). Bridge and Door. *Lotus International*, 47. 52–56.

Колесникова, Д., Николаева Ж., Пирни, А. & Царев, А. (2019). Критический обзор материалов, представленных на международном круглом столе «Городское пространство: идентичность и философия». *Вече. Альманах Vechе. Журнал русской философии и культуры*, 1, 214-229.

Николаева, Ж. В. (2019). Исключение как правило. Границы и эксклюзия в истории городской цивилизации. Тезисы доклада на конференции. *Механизмы формирования зон культурного отчуждения и пограничья -2019. Материалы конференции* (pp. 74-75). СПб: Социологический институт РАН – Филиал Федерального научного социологического центра РАН.

THE SOCIAL POSITION OF WOMEN IN CITIES IN THE USA DURING THE 1960S-1980S

Vlada V. Koroleva (a)

(a) Department of Cultural Studies, Philosophy of Culture & Aesthetics, Institute of Philosophy, St Petersburg State University. Mendeleevskaya 5, St. Petersburg, Russia 199034.
E-mail: koroleva1994[at]me.com

Abstract

The article is dedicated to the problem of the position of women in cities and to creation and formation of “women’s spaces” in the United States in 1960-1980.

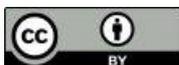
Following the development of the second wave of feminism, we focused the attention not only on the movement for civil rights itself but also on the activities of organizations and women who were trying to improve the living conditions of female citizens.

Prisoners in their homes, women have always been associated more with the suburbs than with the cities themselves. They were never seen as citizens, but rather as rare guests in this urban space.

In order to make cities more women-friendly, feminists began to create exclusive women’s spaces that would help women not only get out from their house-arrest but also solve difficult life situations. Shelters, women’s health centers, women’s libraries, book clubs and kindergartens – all of these new spaces helped an American woman move out of the alienation spaces of their houses and gain new opportunities for self-development.

Keywords

Feminism; women’s spaces; city; suburbs; USA; shelter; racism; sexism; women rights; civil rights



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В ГОРОДАХ США В 1960-Е - 1980-Е ГГ.

Королева Влада Владимировна (а)

(а) СПбГУ, Кафедра культурологии, философии культуры, и эстетики. 199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия д. 5. E-mail: koroleva1994[at]me.com

Аннотация

Статья посвящена проблеме положения женщин в городах, а также созданию и формированию «женских пространств» в Соединенных Штатах Америки в 1960-1980-х годах.

Следуя за развитием второй волны феминизма, мы сосредоточили внимание не только на самом движении за гражданские права, но и на деятельности организаций и женщин, которые пытались улучшить условия жизни горожанок.

Заклученные в своих домах, женщины всегда больше ассоциировались с пригородами, чем с самими городами. Их никогда не воспринимали как горожан, а скорее как редких гостей в этом городском пространстве.

Чтобы сделать города более удобными для женщин, феминистки начали создавать эксклюзивные женские пространства, которые помогали бы не только выйти из-под домашнего заключения, но и решать трудные жизненные ситуации. Приюты, женские оздоровительные центры, женские библиотеки, книжные клубы и детские сады – все эти новые пространства помогли американской женщине выбраться из отчужденных пространств своих домов и получить новые возможности для саморазвития.

Ключевые слова

Феминизм; женские пространства; город; пригород; США; приют; расизм; сексизм; права женщин; гражданские права.



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

INTRODUCTION

If we consider the situation in general that took place in the second half of the 20th century, of course we could see some improvement in the social position of women in cities. However, at the same time, the situation was completely different even within the same city for women of different social classes, ethnicity, sexual orientation, marriage status.

In our research, women's places in the cities were studied, as well as women's position in a family and workplace, civil and legal rights, violence against women in cities and services that were mainly used by women. We have tried not only to study the position of white middle-class women, but also to find out the differences in the position of minorities and lower-class women compared to the majority of female citizens. The period of the 60s-80s was chosen because of the revolutions, movements for the civil rights and significant changes that happened in USA during that time.

The position of women in cities changed a lot after the II World War. On one hand, it was the era of women's rights' significant improvements but on the other hand, first years after the war were years of "redomestication" of women. Women took over jobs in the cities while their husbands were fighting at the battlefield, but later they were forced to give it up and return to their kitchens after men came back (Weissbrodt, 1946). That caused many complaints from women as the labor force and opened up a discussion about equality and women's position in cities and society.

The Second wave of feminism in its fight for women's rights created possibilities for women to use urban space daily. The cities started opening up and became more "women-friendly". During this period new kind of gendered spaces opened by and for women appeared in cities and suburbs across the USA. The big difference between women's spaces and segregation places is as follows: women places were voluntary. Gendered spaces that existed in cities before were based on segregation of men from women in such urban spaces as school, workplaces, houses, colleges (or some faculties). They were created not to help women, but to reduce their access to knowledge, power, civil services and lower their status in cities. That segregation, unlike women's spaces, was mandatory for female citizens (Spain, 2016).

WOMEN'S MOVEMENTS

All changes in the gender landscape of the city were became possible only due to the long history of women's movements. One of the first women's centres, the Women's Educational and Industrial union, was



opened a hundred years before the Second Wave in 1877 on Boylston Street in order to provide a possibility for economic and intellectual independence for elite and middle-class women. They were active members of the community and influenced positive improvements in water and air quality, public health and children welfare. They were a sort of “municipal housekeepers” because they took care of the local commune the same way they took care of their houses.

Women also establish such new spaces as “neighborhoods living rooms” in order to help immigrants to adapt in a new society and safe community from the suffering of newcomers (Spain, 2011). However, what is important here is that starting from the 1960s their focus changed from the needs of society to the needs of female citizens.

After the loss of population in the 1950s because of intensive suburbanization, the government launched an urban renewal in order to save cities from depopulations. They destroyed slums and built public houses that cause huge migration, mostly of African American families. The high-rise public houses and the blight caused by renovation did not attract people to move back to the cities but pushed them to suburbs. In the 1950s and 1960s, the dichotomy between cities and suburbs increased, and urban spaces became identified by the gender of the majority of inhabitants (Spain, 2011). The daytime cities population was identified as masculine because the majority of jobs were occupied by men and a vast number of everyday migration of men from suburbs to cities in order to work. 90 % of men population was at the labour force which means that they spent most of their lifetime in the cities.¹ Suburbs were identified with femininity, housekeeping, and passiveness. Around 70% of women did not work and spent most of the time at their houses.

The women’s movement changed this situation a lot. After Betty Friedan published her “Feminine Mystique” in 1963 and the book became a bestseller, feminism and feminist’s discourse started gaining popularity. In 1966 Friedan along with other feminists founded the National Organization for Women (NOW). This organization became an essential part of the women’s movement. NOW held a convention in 1967 and issued the Bill of Rights with the demands of equal rights and opportunities for women. At the same time, this organization was often considered as anti-male, and many feminists of the movement were not members of NOW and preferred organizations that were not so radical. (Evans, 1995)

We also could say women’s conventions, protests, demonstrations and marshes themselves made women more visible in cities. They were not just

¹ That’s why even if their houses were at the suburbs, many sociologists consider them as “cities inhabitants”.

silent observers but took an active part in the life of cities. They tried to influence political decisions by protesting and issued leaflets and newspapers with their demands.

Moreover, here it is necessary to mention that they were not only fighting for women's rights but also took an active part in other movements in the cities such as protests against Vietnam war, discrimination of black and gay people. However, at the same time, there were many problems within the movement and discrimination against lesbians and black women. That caused the foundation of new organizations, such as the National Black Feminist Organization (NBFO). (Nicholson, 1996).

RACISM

Here we should mention that in America the social position of women in cities was strongly depended on their race, sexual orientation and social stratum. Those who did not fit to the image of white middle-class heterosexual woman had a lower position in the society and a range of problems that white female citizens never faced. De facto racial segregation was still strong despite de jure changes in the 60s when Civil Rights Act (1964), the Voting Rights Act (1965), and the Fair Housing Act (1968) were voted.

Women of colour had suffered from the problem of double discrimination: as women and as people of colour. The segregation of public facilities on coloured and white was a grave issue in the 20th century. People of colour were not allowed to join facilities and spaces that were reserved for white people. They had to eat, drink and live in coloured neighbourhoods that were overpopulated, to sit at the back rows in public transport or use buses for people of colour (McWhorter, 2009). For example, civil right activist Rosa Parks was arrested in 1955 because she did not give up her seat to a white passenger. Her arrest caused a huge Montgomery bus boycott (Williams & Greenhaw, 2005).

Women of colour mostly lived in overpopulated and unsafe neighbourhoods and were in danger of rape, robbery, and murder. They were easy targets for the criminals and especially for members of the third Ku Klux Klan (KKK) that became popular again as resistance to the civil rights movement. Women of colour did not have support and protection from the legal system, and often people who committed crimes against them (mostly white men) were acquitted by an all-white jury or given short prison sentences. It is also necessary to mention that some of the police officers and men who worked in a legal system were themselves members of KKK (Dobratz, 2000).



NBFO that was established in 1973 by Florence Kennedy and Margaret Sloan protests against all these forms of discrimination including those members of the Feminist movement who were racists going against women of colour. They were focusing their efforts on the reproductive and mental health of black women, campaigning against sterilization abuse and for the right for safe abortions. They founded the National Black Women's Health Project (NBWHP) in 1983 (Spain, 2016).

FORCED STERILIZATION

The ecological situation and poverty at colour neighbourhoods and fast spread of diseases such as tuberculosis put the health of inhabitants in danger. Women who lived there had less access to public health facilities and education. Another big problem that they faced was forced sterilization. Eugenic sterilization happened in the USA from the beginning of the 20th century and was almost stopped before the war. However, after the II World War, Dr. Clarence Gamble started practicing the sterilization again. Black, Latina, Hispanic, and Native American women were the primary targets of this process (Jarrell, 1992). Doctors used different ways to force women to consent to the procedure. Gamble himself told women and their daughters that they need shots but instead of that sterilized them. There was a bunch of cases when this procedure was made without consent or knowledge of the victim. Native American, Hispanic and Latina women, sometimes unknowingly, gave consent because they did not know the language (Torpy, 2000).

However, most women were threatened that they would lose welfare benefits for their children and families if they did not agree to the sterilization (Lawrence, 2000). That makes the position of women of colours in cities even more vulnerable and unprotected than the position of white women.

WOMEN'S SPACES.

By taking over jobs in cities women made them less masculine, and at the same time pushed some jobs to suburbs. Women for the first time started visiting places in the cities that were considered as completely masculine before, for example, elective offices, board rooms. The private man clubs were slowly disappearing or turning into nongendered clubs, and bars stopped to be exclusively men's leisure places where they were resting after the working day; now they serve both genders. After gaining access to spaces that were occupied exclusively by men before, women went forward and started to create "women's spaces" in the cities. Most of them were influenced by particular problems that were in focus of the feminist

movement. Women's Health clinics were opened in order to fight against birth control and provide women with information about contraception and reproductive health. The solution to the problems of domestic violence and needs of personal safety became shelters for victims of domestic abuse. The willing to show and express their identity created women's centres, banking facilities, and feminist bookstores (Spain, 2016).

The appearance of such female spaces made women visible in the cities. They are no longer just housekeepers and invisible maintainers of neighbourhoods. At the same time, the situation with shelters for the victims of domestic violence was a bit different. The locations of these places had to remain in secret in order to protect women from their husbands and families. However, the existence of these shelters itself gave women a possibility to run away from the poisoning environment and start a new life that they did not have before. That new life helped those who were trapped in their houses for years to open up cities for themselves, gain jobs and chances to make their own decisions (Spain, 2011).

WOMEN'S CENTRES

The primary goals of all women's centres were to serve all women and provide all necessary information, spread maps and lists of addresses of women facilities in the city, give access to and sell women's books, magazines, newspapers, organize meetings with feminist activists and authors. Centres were essential meeting places both for feminist activists and women. They discuss the problems of modern women movements, the ways one can improve the position of women in the cities and society. Centres also organize campaigns against rape and violence and provide psychological help for victims. They also organized Rape Crisis Centres which not only helped to solve the phycological problems but also provided legal help for those who have decided to report the crime, even if 90% of incidents were never reported. Another goal of the crisis centres was to change the public attitudes towards victims. They visited high schools and universities, appeared on radio, wrote articles to newspapers and organized such events as Anti-Rape Squad. Women activists opened Self-Defence courses, too. Women's centres became also alternative places for gathering outside bars for women who experienced problems with drugs and alcohol (Spain, 2016).

HEALTH CLINICS

In 1977 NOW issued a "Selected Guide to Women's Resources" that provide a list of numerous women's spaces and services, mainly in Boston that was a centre of feminist movement of that time (Spain, 2016).



Radical groups such as “Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell” (WITCH), “The Furies”, the “Society for Cutting Up Men” (SCUM), “Bread and Roses” (from Boston) were the most noticeable within the movement. They not only organized parades and published books that made the female discourse more visible in the cities but also established important women’s services. Radical feminist founded the Women’s Community Health Centre in 1973 in Boston in order to give female citizens access to high-quality, safe and low-cost medical services. Later similar centres were open in many cities in the USA. These centres pose that access to excellent health services is one of the primary human rights and should be free of charge. Services had no fees, but founders of the centre believed that wealthy women would voluntarily pay in order to finance the services for those who cannot pay. Because of this economy politics the centre was closed due to bankruptcy in 1981 (Spain, 2016).

SHELTERS

At the beginning of the 1960s cities were not a safe place for women in terms of domestic violence, but there were safer than suburbs. Many women including Betty Friedan admitted that domestic violence started after their families moved to suburbs. However, domestic violence was still a “normal reality” even in the cities. The domestic violence was a tabooed topic; it was not openly discussed in public spaces in cities. There was no legal protection to women who were victims of abuse: restraining orders and shelters still did not exist, and women had to come back home to the abuser or try to hide at their friends’ houses. The first shelters were established in the early 1970s by members of women’s movement. Women activists around the country started forming organizations that were making cities safer and friendlier for women. For example, in Boston there were established Somerville Women’s Health Project (WMP), the Women’s Mental Health Collective (WMHC) and the Somerville Community Corporation (SCC). The primary goal of SCC was to buy and renovate houses for rent and sale for mainly low-income women and families. Members of the community also helped women to get off welfare, buy houses, provide shelters for runaway women teenagers and victims of domestic abuse (Spain, 2011). This organization was not radical and tried to seek help from everyone willing to help.

Moreover, this had positive results; for example, a man- major Lester Ralf donated the first shelter. In a short amount of time the organization opened a few other shelters around the city, but there were much more women seeking a safe place from their husbands and families than available places. For this reason, members of women’s organizations that

were arranging shelters, for example, RESPOND¹ Inc., often invite victims to their apartments or summer houses if the shelter had no spare beds. Some shelters were open exclusively for women and did not welcome men on any ground; others were welcoming mothers with their adolescent sons.

At the same time the cities were not welcoming even the existing of shelters. Boards of assessors were often against the non-profit houses at the residential neighbourhoods; neighbours themselves, too, complained about shelters at their streets and buildings. In Boston RESPOND succeed in protecting shelters in Oak Street despite all complaints from the commune. Organizations always took the security of the shelters seriously. Women who worked there were not allowed to give up the location of safe houses or arrange meetings nearby. Women whose locations were declassified were moved to another safe house using the network of a coalition of shelters in the city. In extreme cases, women were moved to another state with the help of other women groups or organizations (Spain, 2011).

Later the organization opened an office and started paying for their stuff, for many women worked there as volunteers earlier. It also could be an example of a usual position of women in the cities, when they were no longer staying at home but did volunteering work.

GALLERIES FOR WOMEN ARTIST

One of the first galleries that would exhibit exclusively female artists was established in resistance to those museums and spaces that were declining to present women's art. The galleries also served as open women's places for celebrations, presentations of books and public talks of the famous feminist authors; there were offices, restaurants, and bookshops. One of the most famous specimen is Woman's Building in Los Angeles (Spain, 2016).

WOMEN'S BANK OFFICES

Until the "Equal Credit Opportunity Act" was voted for in 1974, many banks refused to issue a credit card for a woman, if she was unmarried, or even if she was married without her husband signature confirmation. Even after it became illegal to refuse to issue credit cards to female customers based on their gender, banks tried to find other reasons to decline their applications. That created a necessity to establish bank offices in the city that would serve only female clients (McLaughlin, 2014).

¹ Founded in 1975 by Jean Luce. The acronym RESPOND means Responsible Escape for Somerville People through Options and New Development.



COFFEE HOUSES & BARS

Woman's Coffee Houses and bars appeared in the cities in the 70s and served as hubs for mainly white middle-class lesbians and feminists. Coffee Houses were mainly used as meeting or working places that helped to operate the movement, organize events, books presentations, or used as a safe place where women could spend time outside of home or work. Coffee houses were also meeting points for feminist activists from different cities. Bars mainly used as leisure places and for lesbians especially were an alternative of "normal" bars where they were not available to show any signs of lesbianism (Enke, 2007).

BOOKSTORES AND WOMEN'S LIBRARIES

Feminist bookstores and libraries were places for presenting feminist literature, movements' materials and places for gathering. They were selling (or loaning) books, music, jewellery, and art that were written and created only by women. That was very helpful for female artists who were underrepresented and not taken into consideration by "normal" bookstores and libraries. "Sisterhood bookstores" tried to be comfortable and safe places for women in the cities; usually they had feminist posters on the walls, organized coffee shops and workplaces, and of course provided help and information for women in difficult situations. They organized public talks to give the guests information about the movement and women's rights. They also tried to provide legal help for women (Spain, 2016).

JURY SERVICE

In many cities¹, women were not allowed to serve in a jury until 1973. That means that the decisions on cases that considered crimes against women were judged by men and could be biased because of the patriarchal bend in the society. There were cases where all-white-men jury acquitted men on violence charges without any reasons to do so. Without equal representation in the jury, women could not be sure that cases against them or cases where they were victims would be judged fairly (McLaughlin, 2014).

KINDER CARE HOUSES AND ADULT DAY SERVICES

Kinder Care houses could be considered as women's spaces in the cities for two reasons: women made the majority of workers there, and they were made for women who were at the labour force and could not stay

¹ The situation with the rights to serve in a jury was different from state to state.

home with their children. KinderCare opened the first Kinder Care Nursing School in 1969. The growth in the number of working mothers from 1955 to in 1980 made those kinder gardens a very successful project and very important for the convenience of women in the cities. By the time when the company went public in 1972, they already had 20 centres and this number rose to 300 by the company's tenth anniversary. Even if, at the very beginning, only 8 percent of children with working mothers attended kinder care houses, the existence of them was essential for improving the position of women in cities. By 1985 the KinderCare alone together with three other companies were operating 1747 kinder gardens (Spain, 2016).

Besides taking care of children, women were responsible for the wellbeing of elderly family members. In order to take care of old members of the family women often had to miss their job or cut working hours; that cost them money and sometimes workplaces. The fact that more and more women were involved in labour created the necessity to open facilities to take care of old adults. Adult day services (ADS) were an alternative for home care and gave women possibilities to proceed with their careers. ADS, as well as kinder gardens, also gave workplaces for women. In 1980s most of the workers in kinder gardens and ADS were women. ADS improve the quality of women's lives and reduce the level of stress. They no longer have to choose between their family and work (Spain, 2016).

HIGH EDUCATION

Starting from the 1970s women finally had got a chance to attend the Ivy league universities and not only women colleges, but it also happened because those universities were merged with women colleges. Brown started accepting women in 1971, Dartmouth in 1972, Harvard in 1977 and Columbia in 1982. So, before that, the number of places that provided the best quality high education for women in the cities was minimal. (Mclaughlin, 2014).

Universities preferred to accept mostly male students, especially in such fields as economy, medicine, law, and politics. Women were still mostly attending women's colleges even if these colleges were included in the system of non-gender universities. The reason why we cannot call women's colleges "women's spaces" is that those colleges were based on segregation in education between men and women. In women's colleges, they could study only subjects that were considerate as "feminine" and the level of education in those places was not as good as at non-gendered universities.



WORK

The position of women at work was lower than the position of men. Even after The Equal Pay Act was voted in 1963, women did not make the same as men did. It can be explained by many reasons. First of all, they occupied mostly low positions at the workplaces. Neither did they have a chance to become managers of companies and directors. Because of the worse level of education women mostly could not occupy high skilled jobs. As already was mention women had to do housework, take care of children and old members of the family, cook. In order to do this, they had to cut their working hours and earned less. However, women's spaces, centres, and facilities created new working places for women, and feminism made it possible (but of course in sporadic cases) for women to participate in politics, become government officials, and occupy higher positions than before (Spain, 1992).

CONCLUSION

The position of women in the USA cities during 1960s–1980s was not equal to men's. The biggest problem was the level of violence and especially domestic violence that forced female citizens to establish new safe places in the cities, such as shelters and women's centres. Women also suffered from the similar problems in the sphere of education and work. They were either forced to work or pushed from work to their houses without considering their opinions. Another serious problem was forced sterilization and birth control. At the same time women began to be active members of the feminist movement and gained more benefits and positive changes in their life.

I think that the position of women in the cities rose during the post-war period. However, there were still many differences between the position of women in the protected women spaces and in public sphere. Women did not gain the right to be equal to the men citizens yet, but they became closer to do it.

References

- Dobratz, B. A. & Shanks-Meile, S. L. (2000). *The White Separatist Movement in the United States: "White Power, White Pride!"*. Baltimore, MD: JHU Press
- Enke, A. (2007). *Finding the Movement: Sexuality, Contested Space, and Feminist Activism*. Durham: Duke University Press
- Evans, J. (1995). *Feminist theory today: An introduction to second-wave feminism*. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.

- Jarrell, R. H. (1992). Native American women and forced sterilization, 1973-1976. *Caduceus: a museum quarterly for the health sciences*, 8(3), p. 45–58.
- Lawrence, J. (2000). The Indian Health Service and the sterilization of Native American women. *American Indian quarterly*, 24(3), pp. 400-419.
- Mclaughlin, K. (2014). *5 things women couldn't do in the 1960s*. CNN.com
Retrieved from:
<http://edition.cnn.com/2014/08/07/living/sixties-women-5-things/>
- McWhorter, L. (2009). *Racism and sexual oppression in Anglo-America: A genealogy*. Bloomington: Indiana University Press.
- Nicholson, L. (1996). *The second wave: A reader in feminist theory*. New York: Routledge.
- Spain, D. (1992). *Gendered spaces*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Spain, D. (2011). Women's Rights and Gendered Spaces in 1970s Boston. *Frontiers: A Journal of Women Studies*, 32(1), pp. 152-178.
- Spain, D. (2016). *Constructive feminism: Women's spaces and women's rights in the American city*. Ithaca: Cornell University Press.
- Torpy, S. (2000). Native American Women and Coerced Sterilization: On the Trail of Tears in the 1970s. *American Indian Culture and Research Journal*, 24(2), pp. 1-22.
- Weissbrodt, S. R. (1946). *Women Workers in Ten War Production Areas and Their Postwar Employment Plans*. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office. (U.S. Women's Bureau. Bulletin, 209).
- Williams, D. & Greenhaw, W. (2005). *The Thunder of Angels: The Montgomery Bus Boycott and the People who Broke the Back of Jim Crow*. Chicago Review Press.

Список литературы

- Dobratz, B. A. & Shanks-Meile, S. L. (2000). *The White Separatist Movement in the United States: "White Power, White Pride!"*. Baltimore, MD: JHU Press
- Enke, A. (2007). *Finding the Movement: Sexuality, Contested Space, and Feminist Activism*. Durham: Duke University Press
- Evans, J. (1995). *Feminist theory today: An introduction to second-wave feminism*. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
- Jarrell, R. H. (1992). Native American women and forced sterilization, 1973-1976. *Caduceus: a museum quarterly for the health sciences*, 8(3), p. 45–58.



- Lawrence, J. (2000). The Indian Health Service and the sterilization of Native American women. *American Indian quarterly*, 24(3), pp. 400-419.
- McLaughlin, K. (2014). *5 things women couldn't do in the 1960s*. CNN.com
Retrieved from:
<http://edition.cnn.com/2014/08/07/living/sixties-women-5-things/>
- McWhorter, L. (2009). *Racism and sexual oppression in Anglo-America: A genealogy*. Bloomington: Indiana University Press.
- Nicholson, L. (1996). *The second wave: A reader in feminist theory*. New York: Routledge.
- Spain, D. (1992). *Gendered spaces*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Spain, D. (2011). Women's Rights and Gendered Spaces in 1970s Boston. *Frontiers: A Journal of Women Studies*, 32(1), pp. 152-178.
- Spain, D. (2016). *Constructive feminism: Women's spaces and women's rights in the American city*. Ithaca: Cornell University Press.
- Torpy, S. (2000). Native American Women and Coerced Sterilization: On the Trail of Tears in the 1970s. *American Indian Culture and Research Journal*, 24(2), pp. 1-22.
- Weissbrodt, S. R. (1946). *Women Workers in Ten War Production Areas and Their Postwar Employment Plans*. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office. (U.S. Women's Bureau. Bulletin, 209).
- Williams, D. & Greenhaw, W. (2005). *The Thunder of Angels: The Montgomery Bus Boycott and the People who Broke the Back of Jim Crow*. Chicago Review Press.

POSTWAR HEURISTIC STRATEGIES OF EXCLUSION AND INCLUSION IN MOSCOW ARCHITECTURE

Leila Tavi (a)

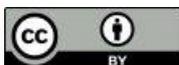
(a) Roma Tre University. Via Ostiense, 159, 00154 Roma RM, Italy.
 E-mail: leila.tavi[at]uniroma3.it

Abstract

Moscow is a city of a thousand faces, constantly changing over the centuries and its high-rise buildings has been forming the shape of the city for centuries. From the «Third Rome», without stratified urbanization, unlike the Rome it would have liked to emulate at the end of the XIV century, Moscow went through a long period in history in which the innovations and changes made to its urban landscape overlapped the existing structure, erasing the architectural features and, thus, the historical memory. This article focuses on the transformation of Moscow from a Soviet capital to a capitalist mega-city, corroborating the thesis that the «immortalization of memory», through the monumental architecture of the Stalinist era, gave a sense of stability and was meant to be remembered by posterity. After the archetypal Soviet city, which embodied the Soviet Union's radiant future in the Thirties and Forties of the Twentieth Century, the city was characterized by a new urban appearance, made up of monumental buildings, privilege of *apparatchiki* (аппаратчики), who lived in *stalinki* (сталинки), examples of socialist classicism, characterized by an original layout. Influenced by this Soviet legacy and its nostalgic impulses, Moscow's contemporary urban governance framework for planning reveals a strong nostalgia for the splendours of the past. The post-Soviet Muscovite experience resembles however more like a hybrid city than a palimpsestic one.

Keywords

Moscow; Post-socialist city; high-rise buildings; urban form; iconic buildings; urban redevelopment; urban planning; skyscrapers; urban design; monumentality



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ПОСЛЕВОЕННЫЕ ЭВРИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ В МОСКОВСКУЮ АРХИТЕКТУРУ

Тави Лэйла (а)

(а) Университет Roma Tre. Via Ostiense, 159, 00154 Roma RM, Италия.
E-mail: leila.tavi[at]uniroma3.it

Аннотация

Москва – город с тысячами граней, постоянно меняющийся на протяжении веков, и ее многоэтажные здания формировали облик города на протяжении веков. От "Третьего Рима", без стратифицированной урбанизации, в отличие от Рима, которому она хотела бы подражать в конце XIV века, Москва прошла через длительный исторический период, когда нововведения и изменения, внесенные в ее городской пейзаж, перекрыли существующую структуру, стирая архитектурные особенности и, таким образом, историческую память. Данная статья посвящена трансформации Москвы из советской столицы в капиталистический мегаполис, подтверждая тезис о том, что "увековечение памяти" через монументальную архитектуру сталинской эпохи давало ощущение стабильности и предназначалось для того, чтобы о нем помнили потомки. После архетипичного советского города, олицетворявшего светлое будущее Советского Союза в 30-е и 40-е годы XX века, город характеризовался новым урбанистическим обликом, состоявшим из монументальных зданий, привилегией аппаратчиков, живших в сталинках, считавшихся образцами советского классицизма. Под влиянием этого советского наследия и его ностальгических импульсов современные градостроительные рамки Москвы обнаруживают сильную ностальгию по великолепию прошлого. Однако постсоветский опыт Москвы больше похож на гибридный город, чем на палимпсестический.

Ключевые слова

Москва; постсоциалистический город; высотные здания; городская форма; культовые здания; городская перепланировка; градостроительство; небоскребы; городской дизайн; монументальность



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Moscow is a factory for making plans, the Promised Land of technicians (without a Klondike). The country is being equipped!

Le Corbusier, Precisions on the Present State of Architecture and City Planning (1930)

From the Tower of Babel onward, the fantasies of builders have been vertical rather than horizontal

Ada Louise Huxtable, The tall building artistically reconsidered: the search for a skyscraper style (1984)

INTRODUCTION

The structure and the identity of a city can be represented as a theoretic model. Therefore, the city can be analysed as a socio-cultural entity and as a major format of human residence. The past is a significant element for a conceptualization of the city as a space that is built and developed both in physical reality and in our minds. In this sense, the past of a city is not only part of history, but of a narrative that helps to better understand its society. Marxist geographer David Harvey (2003) and postmodern urban planner Edward Soja (2003), following the thinking of Henri Lefebvre (1996), have shown that urban space is not only a physical space, but the cultural imprint of a society. According to their theories, through a careful reading of these narratives of the city, it is possible to acquire a greater understanding of society's transformations.

Spatiality is the arena wherein social processes and interactions take place. For Roland Barthes (1986) the city is a «discourse», whose essence is the expansion of urban functions. His urban semiotic system is divided into rational material space semiotic system and perceptual emotion space semiotic system. The latter is composed of the figurative signifier and metaphysical meanings. In Roland Barthes' Urban Semiology (1988) there is a double meaning that has both philosophical and architectural significance. For Georg Simmel, «space in general is only an activity of the mind» and «the emphasis on the spatial meanings of things and processes is not unjustified» (1997, p. 138).

For Yuri Lotman the concept of the city should be associated with that of «semiosphere» (as cited in Lotman, 2002), which anticipated the «spatial turn» in cultural studies. Lotman's semiosphere is a metaphor, which offers a spatial model for the interpretation of culture. Lotman also draw a



distinction between the «concentric city» of Moscow and the «eccentric city» of St. Petersburg. Fundamental to Moscow's urban identity is also Vladimir Paperny's theory of «Culture Two» (Paperny, 2006), in reference to Stalinist architecture.

Caroline Humphrey (2002) argues that Moscow presents not only a «psychological-ideological landscape», but also that this landscape «has specific post-Soviet contours». The image of Russia is therefore a poly-logical country that combines core and periphery, centre and marginality, horizontality and verticality. It is a European «periphery» that has a beating heart, Moscow, which, in the perspective of a Russian pivot to Asia, is a candidate to be an alternative financial centre to London. The Russian capital has a special resonance as a synecdoche of the nation, surrounded by borderlands, whose survival depends on natural resources and whose liminal charge depends upon their core. This centre-periphery dichotomy produces a continuous feeling of failure and a need of repair. On the one hand, Moscow offers a vision of Russian society, while on the other hand, the city acquires «global» attractions: nostalgia for the glorious past, a period of rapid urban restructuring, a gated community, a suburb in contrast to the «Москва-Сити»¹, the place of international finance. All the above-mentioned factors should be analysed through local culture and history.

Moscow is an emerging world city, which is still obsessed with its Soviet legacy. With its vision of the «new capital» of the year 2020, the master plan of 2004 draws inspiration from the General Plan of 1935, with the magnificence of Stalin-era monumentalism, its vertical development, and its original skyscrapers. Moscow today bears the future of Russia. It is a city full of the phantasmagoria of past eras, but which can be shaped for new geographies and new types of urban environments. Above all, it is worth to mention the geography of Russian government organization, combined with the financial and trade sphere of the *Moscow International Business Center*².

Moscow is a symbol of a power still conceived as power over the space, based on a new patriotism, limiting the influence of the new urban middle class and concentrating the wealth in few hands, in a sort of hierarchical patronage, whose symbols are the skyscrapers. These new *Putinskie Vysotki*³ are the result of new economic settings for architectural planning, in a city that fluctuates between traditionalism and modernism.

¹ Moskva-City.

² Московский международный деловой центр.

³ Путинские высотки.

THE SOVIET LEGACY

Unlike other forms of Classical Revival, the neoclassicism expressed by the socialist realism developed its own peculiar way of critically reinterpreting the concept of classicism, which we cannot consider as an imitative style, but as an eclectic iconographic system, conceived according to the Leninist principle that everything good in a culture of the past was created regardless of the policies of the respective ruling class (Paperny, 2002).

Moscow had to represent a model that was no longer the utopian city desired by the Russian architects of the 1920s, who understood cities as small, anonymous, and circumscribed realities, measured on a human scale and spread throughout the territory in a homogeneous way. With its skyscrapers, Moscow became the reference point and model for other capitals of the Soviet bloc, as well as the antagonist par excellence of New York, the Western symbol of the melting pot and utilitarianism (Kruzhkov, 2014). It was therefore necessary to replace the utopian projects for those skyscrapers, that until then Russian architects had only built on paper¹, with concrete projects, eclectic and solid at the same time, that could convey an educational message to the masses, inspiring in the citizens at the same time trust and fear in the regime (Behrends, 2015).

If we compare the New York skyscrapers in those years, they truly represented an example of capitalism without ideology, based on the optimisation of logistics costs and the workforce employed there. Instead, the Moscow Seven Sisters' projects hinged on an archaic structure, with elements of Roman imperial and medieval architecture, to create an effect of triumph and power, combined with the hierarchy of the Russian Orthodox cathedrals and «the principles of the formation of vertical dominants and stable horizontal composition» (Golovina & Oblasov, 2018, p. 13).

Influenced by politics and ideology, Russian architects were skilled at exploiting the idea of verticality as an elevation axis, taking some ideas from the Constructivism. The «common houses» that Le Corbusier saw in Moscow between 1928 and 1929 inspired his idea of *ville radieuse* of 1931, whereas the Muscovite skyscrapers were conceived as redundant granitic high-rise buildings, showing a reckless opulence, compared to the essential and luminous skyscrapers theorized by Le Corbusier.

The Russian *ville radieuse* was declined then in *светлое будущее*, in a national form and in solid granite, no longer in a universal message and

¹ As in the case of *The City of Skyscrapers*, an architectural fantasy of Jakov Chernikhov (Яков Георгиевич Чернихов), a constructivist architect and graphic designer.



with innovative materials. Those high-rise buildings were shaped with experimental design techniques, together with Neoclassicism and Neo-Renaissance elements (Van Baak, 2009). The result was «national in form» (Cooke, 1997, p. 137) within the peculiar Russian context, with a centripetal perspective, and no longer with centrifugal dynamism, giving to the buildings a special Soviet pathos. Since 1933 the Academy of Architecture of the Union of Soviet Socialist Republics supervised every project, implementing to the letter the directives of the CPSU¹, which obliged architects to design buildings that were «socialist» in content, but «national» in form, to represent Moscow's peculiar melting pot, so different from the New York one. This particular image of Moscow helped, together with the Stalinist mass culture, the formation of a Russian national identity between 1931 and 1956 (Brandenberger, 2002).

Thanks to this historical *fictio*², Stalin intended to shape a Soviet multi-ethnic society, according to a cultural model, which was, in a provocative way, in continuity with the Tsarist tradition (Kappeler, 2008). The *homo sovieticus*, which acquired after the death of Stalin a negative meaning, represented in Stalin's era the synthesis between individual local traditions and myths. This ideological/cultural mixture represented furthermore a symbology known, understood, and shared by all ethnic groups in the Soviet Union and taken as a model from its satellite States (Harding, 2013).

In this perspective, Moscow had to be developed in height and depth. The suburban and underground dimension had been conceived for the masses, especially the metro. Moscow working-class journey to the workplace had to be as pleasant as possible; the stations were therefore, on the instructions of Lazar Kaganovich, embellished with statues in typically proletarian poses, twenty different qualities of marble, a sumptuous illumination. Metaphorically, the metro had to lead the Soviet proletariat towards a «bright future». An impressive slogan, but without the utopian goals of the revolutionary period (Lemon, 2000), which was replaced with the more general concept of «сталинская забота о человеке»³, very helpful in order to create a metropolitan image for Moscow architecture (Vasilyeva & Kosenkova, 2015). In this sense, the masses became aware of the concept of public good, which manifested itself in all its beauty.

On the contrary, the verticality of the skyscrapers, according to a hierarchical-feudal legacy, was a prerogative of the *nomenklatura*⁴, which

¹ КПСС or CPSU in English - Communist Party of the Soviet Union (disambiguation).

² As it happened for nationalism in mid-nineteenth century Europe.

³ Stalinskaya zabota o cheloveke, or Stalin's solicitude about man

⁴ Номенклатура.

in the last period of the Stalinist regime resembled what Simon Sebag Montefiore describes as a «political dining society» (2004, p. 537). With Stalin, also the skyscrapers became a political issue, or better a political vehicle.

Like ivory towers, some of the Moscow skyscrapers were used as residential buildings hiding inside a microcosm of their own, separated from the life of ordinary citizens. Far from prying eyes, individualism and unbridled luxury were granted, at least as long as one remained in Stalin's good graces. A category of privileged people, who drove luxurious autos, like the ZIS models, resembling the ruling class described by Milovan Đilas in his book *The New Class* (Djilas, 1957)¹. Certainly, those powerful men did not travel by metro, walking through the crowded metro stations, like the thousands of workers.

For the devastated Russian society, with its victorious but difficult exit from the Second World War, the bright future represented an ideological slogan, as American consumerism used advertising.

With its vast urban space, Moscow was used as the *образ* badge of that slogan. The «Seven Sisters», built around the centre of the city between 1947 and 1951, became an expression of Soviet grandeur and the answer to Western capitalism. The Soviet skyscrapers were characterized by façade decorations, example of a reactionary aesthetic, which was a consequence of the continuing need for self-celebration of the totalitarian regime and its bureaucracy.

For the Soviet nation and its father Stalin, the radiant future meant above all victory, whose symbols were those extraordinarily «radiant» structures, which gradually emerged from the Moscow construction sites between 1947 and 1951. Gleaming and topped with gold, Moscow skyscrapers were recognizable by their church-like form and their traditional three-dimensional placing within the city (Cooke, 1997).

Instead of becoming a tangible evidence of the «Promised Land of technicians», declaimed by Le Corbusier (1991, p. 260) during his trip to Russia, the new monolithic giants of Moscow, were an expression of a dim magnificence based on a *damnatio ad metalla*². Those skyscrapers were symbols of a hierarchical ideological empire and expression of the self-referential narcissism of a single man, which to a Western observer of that time could appear a «more 50-foot Stalins on the roof» (Blake, 1947, 127).

¹ The original title of the book is *Nova klasa: kritika savremenog komunizma*.

² To build the Muscovite skyscrapers were used mainly Gulag political prisoners and German prisoners of war, considered as slaves.



Moscow urbanisation plan had an ambitious project, the *Palace of the Soviets*¹, begun and never finished, because of the war (Cetin, 2011). It was to be built on the site of the *Cathedral of Christ the Saviour*², at the time the highest Orthodox church in Russia, demolished in 1937 to make room for a building that could have been the ideal place to house a «practical facility for the hosting of International Communist Party plenums» (Hoisington, 2003, p. 45).

What Anatole Kopp refers to as «gigantisme symbolique» (1985b, p. 56), transformed the city of Moscow into a tangible symbol of Soviet power; a celebration of a Pantagruelian *modus vivendi*, which had to satisfy the aesthetic taste in architecture of the Russian political elite with its excesses.

That aesthetic taste was condemned during the XX Congress of the PCUS of 1956 by Khrushchev³ himself, who intimated to the president of the Soviet Academy of Architecture, Arkady Mordvinov⁴, not to waste any more money on «architectural over-indulgences» (Cooke, 1997, p. 137) with expensive decorations.

A new course was inaugurated at the end of the 1950s: the facades of the buildings had no ornaments, but square lines. Soviet architecture had to return to austere forms, without showing the futuristic impetus of the early Twentieth-century Constructivism.

Industrialization had an immediate effect on housing construction: in the Soviet Union the construction of dwellings tripled between 1950 and 1960, from 20 million m² to 59 million m² (Andrusz, 1984). The sophisticated buildings of the «сталинский ампир»⁵ were replaced by mass housing blocks, called *полусталинки-полухрущёвки*⁶, a sort of spare buildings still designed according to the rules of the Stalin's Empire style, «ободранные сталинки»⁷ from 1956 to 1960.

Later came another hybrid form of post-Soviet urbanity for the Russian working class: the *хрущёвки*⁸, followed by the *брежневки*⁹. From the beginning of the 1970s to the beginning of the 1990s, we can count four waves of industrial housing construction. On the ashes of a decayed socialist city rose again a new metropolis, symbol of a State that has been trying to regain a role of great power in the world.

¹ Дворец Советов (Dvoretz Sovetov).

² Храм Христа Спасителя (Khram Khrista Spasitelya).

³ Никита Сергеевич Хрущёв.

⁴ Аркадий Григорьевич Мордвинов.

⁵ Stalinskii Ampir, or Stalinist Empire style

⁶ Polustalinki-poluhrushchyovki.

⁷ Obodrannye stalinki.

⁸ Khrushchyovki.

⁹ Brezhnevki.

As Gunko, Bogacheva, Medvedev & Kashnitsky (2018) explain, in 1999 the Moscow government started the programme «Comprehensive reconstruction of the areas of five-storied apartment buildings built during the first period of industrial housing construction». That programme included the demolition of most of the *khrushchyovki*, that had to be replaced by recreational spaces, public utility buildings, and residential constructions. Only some *khrushchyovki* were renovated and rebuilt by private initiative, with private investment. Those remained *khrushchyovki* are colloquially called *khrushchyoby*¹, a combination of the words *khrushchyovki* and *trushcheby*², but without acquiring a meaning of ethnic segregation or socio-economic disparity (Demintseva, 2017; Vendina, 2004).

Urbanization growth under the Soviet regime was an expression of the modernization of the territory from the social, technological, and economical points of view, but it was also the expression of an ideological project, underlined by radical political turns in the architecture, a strict political control over the urban territory and over the production of the city and the allocation of dwellings (Inizan, & de Lille, 2019).

MOSCOW CONTEMPORARY VERTICAL URBANISM

After the collapse of the Soviet Union in 1991, the idea of architecture borrowed from the Stalinist era is present *in nuce* in Moscow new mega-structures. (Griffiths, 2014; Dmitrieva, 2006). With the 1992 Moscow Structure Plan, launched by Mayor Luzhkov³ during his first term in office, the concept of a block city, with a more differentiated housing supply was introduced. Moscow offered luxury buildings for the glittering residential districts, where the new businessmen lived, while the colourful districts on the outskirts of Moscow were intended for middle-income families, and the rest of the city, with its anonymous appearance, for the masses (Alden, Beigulenko, & Crow, 1998).

This housing differentiation in Moscow's urban layout demonstrates the overcoming of societal equality in favour of the needs of the individual and his disposable income. The neoliberalism inaugurated by Luzhkov was the response to the housing needs of a middle class that was constantly growing in Moscow until the global financial crisis of 2008. In this framework, the differentiation of housing supply results in today Moscow

¹ Хрущобы.

² Трущобы – slums in Russian.

³ Юрий Михайлович Лужков, (born September 21, 1936, Moscow, Russia, U.S.S.R.—died December 10, 2019, Munich, Germany).



as socio-spatial segregation (Kuznetsov, 2015), also because Moscow has always attracted migrants from Central Asia and Russia's remote regions.

During the 2000s, the city's historical concentric structure has been developed upwards, demonstrating a renewed obsession with the verticality of Stalin's times. Luzhkov intended to turn Moscow into a global city. He supported the construction of ultra high-rise buildings, such as the skyscrapers of the Moscow International Business Centre¹. His urban plan was favoured by the patronage of big business and the rise in oil and gas prices in the early 2000s, which attracted foreign capital to Moscow and «drove a construction boom that resulted in the proliferation of hyper-modern skyscrapers across the city» (Büdenbender & Zupan, 2017, p. 302).

What is interesting is that the imposing Moscow financial centre is composed of towers. This choice enhances the cultural sense of this architectural element, as confirmed by the etymology of the word «tower»², which in Russian is *башня*³, derived from the Turkish *baş*, meaning «head».

«A *tower* as a *head* extends this meaning to the cultural body, creating a corporeal metaphor: the head as a political/social leader» (Zlydneva, 2008, p. 86). The word head can also be a metaphor for power, which can be declined in the case of Russia as *masculine* authoritarian power. Moscow towers/skyscrapers are therefore a symbol of the power of the State and serve as a *trait d'union* to the historical periods that have shaped Moscow urban landscape, especially during the Muscovite State. In the 16th and 17th centuries the natural conformation of Moscow, developed on several hills, was used as one of the arguments for describing Moscow as the hypothetical successor of the Roman Empire (Pliukhanova, 1995).

In spite of its early 1990s haphazard beginnings, Luzhkov's urban development model worked, because it contained characteristics that were well suited to existing socialist structures: elite-networks, technocracy, public ownership of buildings and land (Jensen, 2000). Mass privatization of housing entered into force in Russia on 4 July 1991, when the law «On privatization of housing fund in the Russian Federation» was adopted⁴ (Kosareva & Struyk, 2010). Luzhkov preferred not to sell off Moscow's public buildings, but to use private capital for their restructuring and modernization. The result was that Moscow recovered much more quickly

¹ Московский международный деловой центр (Moskovskiy mezhdunarodniy delovoy tsestr) has been designed by Swanke Hayden Connell Architects.

² Some of the high-rise buildings in contemporary Moscow are named *towers*. The etymology of the word is: Old English *torr*, from Latin *turris*, meaning citadel or high structure.

³ Башня.

⁴ «Privatization was individual and voluntary and, if desired, residents could continue living in their apartments without privatizing them on terms of social hiring. At the present time, there are still around 10% of apartments in Moscow which are not privatized» (Gunko at al., 2018, p. 290).

from the collapse of the Soviet Union than other Russian cities, also because Moscow became an attractive outlet for international investments.

Moscow under Luzhkov kept the Soviet practice of requiring a notice of the permanent living place ('propiska'), as the government wanted to limit uncontrolled migration and homelessness, although the process of registration is very bureaucratic (Astapova, 2013, p. 8).

Luzhkov behaved in relations with Muscovite citizens as *хозяин*¹, trying to balance his actions between the interests of the State, those of the elite and the public good. In times of hyperinflation he used commune property as an alternative currency, with the tacit consent of the Muscovites, who agreed to maintain a Soviet-style management of their city in order to have guaranteed urban growth and economic stability. (Zupan & Büdenbender, 2018). Using Soviet practices and structures and insisting on three fundamental pillars of Russian culture: orthodoxy, autocracy and national identity, Luzhkov laid the foundations for a benevolent authoritarian neoliberal model (Zeltsman, 2011). This urban patronage management is called «Luzhkov compromise», while the related post-modern vernacular architecture made of eclectic-classical buildings is called «Luzhkov style».

This is how Daria Paramonova² describes the Luzhkov style:

Yury Mikhailovich's personal interpretation of context and history led to a bastardized classicism being acknowledged as the right style for the historic areas of Moscow. The audacity with which architects could use the obligatory historical elements – pillars, cornices, and the like – led to some extremely strange buildings. You can't even call them postmodern, because the theory of postmodernism is far more complex. The popularity of the contextual idea was also economically dictated. Investment, construction, profitability ... they became magic words to justify all kinds of cultural abomination (Clark & Tsibizova, 2017).

The Soviet legacy is a key element in the urban development of the Luzhkov years. In almost two decade, the mayor with an iron fist used to

¹ *Khozyain* means leader of any social sphere, a home, village or enterprise, who is responsible for business but also takes care for his people.

² Dasha Paramonova is an architect, urban planner, and head of the Strelka Institute for Media, Architecture and Design (Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Institut Media, Architektury i Dizajna «Strélka»), author of book about architecture Luzhkov era (Paramonova, 2013).



reshaped the city, supported by his wife Yelena Baturina¹, who is the only woman among Russian billionaires with a fortune of \$1.2bn. «Taking the city as a canvas, Luzhkov has written into the cityscape narratives of the nation, its past and its future. Yet the result is incoherent and contradictory, creating a dizzying sense of cognitive dissonance» (Griffiths, 2014, p. 54)

The first building 100+m in Russia was completed in 1995 – the Gazprom Tower in Moscow (150m). Outside Moscow, the first building of 100+ was Uralsib Bank's office, Ufa, 1999. By the 21st century, there were 25 100+ buildings in Russia. Modern high-rise construction began after the 1998 crisis. The first new ones were three 115-m towers of residential complexes at Leninsky Prospect in Moscow. Triumph Palace residential complex (264m), 2005, Naberezhnaya Tower (268m), 2007, City of Capitals complex (302m), 2009, Mercury City Tower (339 m), 2013, OKO complex (about 354m). Now the highest in Russia and Europe is the Federation Tower (364 m)², 2017, arch. nps+partner, Schweger Associated Architects. As a result, an area with ultra-high buildings appeared in Moscow, which is not found elsewhere in the world, except for the Dubai-Marina area (Iconopisceva & Proskurin, 2018, p. 5).

High-rise architectural concepts of Luzhkov's Moscow reproduce in a clashing way the «Stalin Gothic style», according to an ambitious planning vision, based on mythology, hierarchy and centripetal concentricity, as theorized by Paperny (Wolfe, 2013). With Putin's coming to power and his growing passion for the *вертикали власти* or *vertical of power*³, the tendency was to expand Russian cities no longer outwards, therefore horizontally, but upwards. At the beginning of the Second Millennium, the vertical design of Moscow has many examples, including the *Patriarch*⁴,

¹ Елена Николаевна Батурина (born in Moscow, 8 March 1963).

² The Federation Tower (Башня Федерации, *Bashnya Federatsii*) is a complex of two skyscrapers built on the 13th lot of the Moscow International Business Center (MIBC) in Moscow, Russia. The two skyscrapers are named Tower East or Vostok (Russian: Восток, East) and Tower West or Zapad (Russian: Запад; literally means "West").

³ Political analysts borrowed this term from a film of 1967, *Vertikal*, a favourite of Putin, who knew all its songs by heart. *Вертикаль* is a Soviet sports drama film directed by Stanislav Govorukhin (Станислав Сергеевич Говорухин) and Boris Durov (Борис Валентинович Дуров). It was among the box office leaders of that year. In relation to Russian politics, this term describes a vertical chain of hierarchical authority.

⁴ The *Дом Патриарх* is a 12-story luxury apartment building on Malaya Bronnaya Street (Малая Бронная улица), built in 2002 and designed by the Moscow architects Sergei Tkachenko (Сергей Борисович Ткаченко) and Oleg Dubrovsky (Олег Дубровский). The luxurious building overlooks Patriarch Ponds (Патриаршие пруды) and is decorated with mosaic marble floors, columns, and twelve sculpture made by Vladimir Kurochkin (Владимир Борисович Курочкин). Among the statues one can recognize Kurochkin himself as a sculptor, and Sergei Tkachenko with a drawing in his hands, and Oleg

with a spire that resembles *Tatlin's Tower*¹; the base of the building has a stepped body similar to a wedding cake in typical Stalinist style. Three other examples of pseudo-Stalinist style are the Triumph-Palace² residential complex, built on *Chapaevskii pereulok*³ and the *Edelweiss Tower*⁴ on *Davydovskii pereulok*⁵. The latter two buildings have often been compared to the *Seven Sisters* of the Stalinist era (Honda, 2012). Another example of high-rise buildings built drawing inspiration from the skyscraper projects of the past are the *City of Capitals*⁶, which is a mix-used complex located in the *Moscow International Business Center*, for which was taken as a model Tatlin's pre-Revolutionary counter-reliefs, three-dimensional constructions made of wood and metal.

«Tatlin experimental work in the early 20th century marked an attempt to redefine sculpture's relationship to build space» (Starodubtsev, Myers, & Goetz. 2011, p. 13). The unconventional architecture of the tower theorized by Tatlin is distorted in contemporary Moscow, where widespread skyscrapers destroy the perception of the building as an exceptional architectural monument.

This is an interesting description of the new high-rise buildings of Luzhkov era made by Griffiths in his doctoral thesis discussed in 2014:

*Not only do the Triumph Palace's 'wedding-cake' structure and soaring spire bear remarkable resemblance to Stalin's famous skyscrapers, but the Edelweiss Tower was the first building to be completed as part of another scheme with Stalinist overtones, the plan to construct the 'Novoe kol'tso Moskvy'⁷. The ring of skyscrapers was incorporated into the General Plan for 2020, first presented to the Moscow City Duma in 1999 and finalized in 2005, and the concept was supported by Luzhkov. More ambitious in scale than the 'first ring' of seven *vysotki*, the 'new ring' was intended to consist of sixty towering complexes by 2015. One of the skyscrapers pencilled in for *Leninskii prospekt* neatly captures the scale of the architectural ambition with its simple designation – 'Vertikal'. However, with*

Dubrovsky with a house model, and the chief architect of Moscow Alexander Kuzmin (Алекса́ндр Ви́кторович Кузьми́н), who died on September 26, 2019.

¹ Башня Татлина, a project for the Monument to the Third International (1919–20) by Vladimir Tatlin (Влади́мир Евге́рафович Та́тлин), which was never built.

² Триумф-Пала́с, complete in 2006.

³ Чапа́евский переу́лок

⁴ Эдельвейс. Built between 2000 and 2003, the tower has 43 floors and is decorated with multiple turrets.

⁵ Давы́довский переу́лок.

⁶ *Город Столиц* (Gorod Stolits) was designed by the U.S. company NBBJ in 2002. This mixed-use complex was developed between 2005 and 2009, then completed in 2010. The 300 000m² project consists of two towers of 62 and 73 storeys, preceded by a conical dome.

⁷ Но́вое ко́льцо Москвы́.



investors already reluctant by the mid-2000s to keep Vertikal' rising amidst soaring costs, the plan ultimately foundered in the ensuing uncertain economic times. The scheme was quietly scrapped in August 2011, by which point only six of the sixty skyscrapers had been completed or were nearing completion (pp. 68-69).

Besides the Edelweiss Tower there are five other buildings, which belong to the "New Ring of Moscow" project: the *Kontinental*¹, the *Well House*², the *Bastion*³, the *Sokolnaja Gora*⁴, and the *Preo-8*⁵. Another residential building complex that belongs to the Luzhkov style that is worth mentioning is the *Scarlet Sails*⁶

At the end of the first decade of the new millennium, the financial crisis and the fall in oil prices have drastically reduced the ambitious plans to turn Moscow into a financial hub that could compete with London, where the rich Russian oligarchs have previously invested the proceeds of oil and gas production, buying some of the most expensive properties. Anyway, between 2000 and 2008 Moscow grew more than any other town in Eastern Europe, in terms of urban development and connectivity to the global network.

The construction of towers and skyscrapers was concentrated on the banks of the river, just outside the *Sadovoe kol'tso*⁷, where *Bashnia*⁸ was started to be built already in 1996. The building was completed in 2001 and was the first building of the urban complex called *Moscow City*⁹. Luzhkov

1 Жилой комплекс «Континенталь», the residential complex Continental situated on the Marshal Zhukov avenue (Проспект Маршала Жукова) was built between 2005 and 2011.

2 «Well House на Ленинском». Велл Хаус на Ленинском or Wellhouse at Leninsky Prospekt was built between 2002 and 2009.

3 Бастион is situated on Profsoyuznaya street (Профсоюзная улица) and was built between 2006 and 2012 by the team of Aleksey Bavykin (Алексей Бавькин), Michail Marek (Михаил Максимович Марек), Andery Vlasenkov (Власенков Андрей), and Grigory Guryanov (Grigory Guryanov) for the companies Praycast (2006-2010) and Tashir (2010).

4 Соколиная Гора on Semyonovskaya square (Семёновская площадь) was built between 2005 and 2008.

5 The «PREO 8 business centre» (Бизнес-центр «ПРЕО 8») is a commercial property complex in the historic district of Moscow, on Preobrazhenskaya square (Преображенская площадь). The project is by ABD architects.

6 «Алые паруса» on Aviatsionnaya street (Авиационная улица) was built between 2000 and 2003. The name is inspired by the traditional celebration in Saint Petersburg which began in 1968, when several Leningrad schools united to celebrate the end of the school year in connection with the symbolism of the popular 1922 children's book *Scarlet Sails* by Alexander Grin (Александр Грин).

⁷ *Садóвое кольцо*, meaning the Garden Ring.

⁸ *Башня 2000*, also called *Tower 2000*.

⁹ «Москва-Сити» — деловой район на Пресненской набережной. The Moscow International Business Center (МIBC - Московский международный деловой центр, Moskovskiy mezhdunarodniy delovoy tsentr), also known as *Moskva-City*, (Москва-Сити, Moskva-Siti), is a commercial development located just east of the Third Ring Road (Третье транспортное кольцо, Tretye Transportnoye Koltso), at the western edge of the Presnensky District (Пресненский район) in the Central Administrative Okrug

had already been relieved of his duties as mayor, when the *Federation Tower* was erected in the *Moscow International Business Center*. The architectural complex is composed of: *Tower East*¹, *Tower West* and *Spire*. The Eastern tower is still the tallest buildings of the Russian capital, after the *Ostankino TV Tower*². Before the *Federation Tower* four other complexes made of super-tall skyscrapers higher than 300 meter were built in the MIBC: the *Mercury City Tower*³, the *OKO Towers*⁴, the *City of Capitals*⁵, and *Eurasia*⁶, which complete Moscow skyline together with three projects still under construction the *Grand Tower*⁷, the *Neva Towers*⁸, and the *One Tower*⁹.

Other MIBC buildings that are less than 300 meters high are: the *Tower 2000*¹⁰, the *Empire*¹¹, the *Evolution Tower*¹, the *IQ-quarter*², the *Naberezhnaya Tower*³, and the *Northern Tower*⁴.

(Центральный административный округ, Tsentralny administrativnyy okrug), which is considered Moscow place for international business.

¹ With its 1227 feet, the super-tall skyscraper *Восток* (*Vostok*) is the tallest building in Europe and Russia after *Lakhta Center* (Лáхта цéнтр, *Lakhta tseentr*) in Saint Petersburg. The design is by German-Russian engineer Sergei Tchoban (Сергей Энверович Чобан) and German professor and engineer Peter Schweger. The complex was designed by architecture companies nps+partner and Schweger Associated Architects. The construction started in 2005, with *Запад* (*Zapad*) completed first in 2008 with a height of 242 meters (794 feet). As a result of the Great Recession, construction of the complex stopped until August 2011, and *Vostok* was completed only at the end of 2017.

² *Ostankino Tower* (Останкинская телебашня, *Ostankinskaya telebashnya*) is a television and radio tower designed by Nikolai Nikitin (Николай Васильевич Никитин) and built between 1963 and 1967. It is still the tallest free-standing structure in Europe and 11th tallest in the world.

³ *Меркурий Сити Тауэр* (*Merkuriy Siti Tauer*) was developed by the American architect Frank Williams and the Russian engineering team Mosproject-2 (Моспроект-2), under the leadership of architect Mikhail Posokhin (Михаил Посохин).

⁴ *Oko* means in Russian *eye*, but it is also an abbreviation for *Ob'yedinonnyye Kristallom Osnovaniya* (Объединённые Кристаллом Основания), which means in turn *Joined by Crystal Foundation*. The construction of the two skyscrapers, North Tower and South Tower, started in 2011 and finished in 2015. The project was assigned to the firm Skidmore, Owings and Merrill.

⁵ For a detailed description please refer to Footnote 19.

⁶ *Евразия* (*Yevraziya*), also known as *Steel Peak* (Стальная Вершина, *Stalnaya Vershina*) was built by Swanke Hayden Connell Architects between 2007 and 2014.

⁷ Conceived by Werner Sobek & Ass., Башня «Гранд Тауэр» is a high-rise office tower to be constructed on top of an already existing basement structure. The twin towers will be coupled only by light bridges and the complex is supposed to be finished in 2020.

⁸ *Невские башни* (*Nevskiye Bashni*), formerly named *Renaissance Moscow Towers* (Ренессанс Москва Башни, *Recessans Moskva Bashni*), is a complex of two skyscrapers. After Foster's original project had been abandoned, the ownership was partly transferred in 2014 to Rönésans Holding. The Turkish company hired ST Towers LLC to develop a new complex. SPEECH Architectural Bureau is also taking part in the project, in partnership with U.S. companies HOK and FXCollaborative and with public spaces designed by Hirsch Bedner Associates. The complex will be ready in 2020.

⁹ *1 Tower* or *Уан-тауэр*. Its height upon completion in 2024 will be 405 meters with 101 floors, designed by the Sergey Skuratov Architects team. With this height it will be the tallest building in Moscow, second tallest building in Europe and Russia after *Lakhta Center* in Saint-Petersburg.

¹⁰ *Башня 2000* (*Bashnya 2000*), or *Tower 2000*. Built between 1996 and 2001 and designed by Boris Thor (Борис Тхор)

¹¹ *Империя* (*Imperiya*), formerly the *Imperia Tower*. Built between 2003 and 2018, it is a mixed-use complex which includes a completed 60-story skyscraper with a height of 239 metres (784 ft). The tower



Due to the financial crisis of 2007-2008, the realization of the *Russia Tower* was cancelled. The original idea was already proposed in 1994 and the first model to win was the one by famous British architect Norman Foster, with a height of 1 km (0.62 mi), but Luzhkov did not give permission to start working. Foster presented a second project which consisted of a height reduced to 648 m and won again with a concept that included sky gardens as well as a park, shopping centre, aqua-park, power plant, mini-metro, linkage to the city underground system and a high-speed train to the international airport. Unfortunately, for this mega-project of «a city within a city» (Golubchikov, 2004, p. 240), which at that time might have been the world's tallest glass-sheathed skyscraper, was never built. The investment would have exceeded \$10 billion and, although the Moscow Government attached tax breaks to the site and various ownership incentives, but private investors were reluctant to put the money into such ambitious construction project, so it was not possible to finish the building with only public funds at disposal. Luzhkov considered the tall building as a unique «ornament» for *Moscow City*, as he declared during the inauguration ceremony of *Russia Tower* building site: ««We will not stop on building of this complex. Per se, we build a new city where streets grow upwards. Here we will have all facilities necessary for a person to live, work and enjoy his spare time. So the City won't be the final point in our plans. As you know, Moscow authorities is planning the possibility of developing the industrial zone in Krasnaya Presnya region, so-called "Big City"» («Russia» on a start, 2007, p. 124). This speech makes us understand how a failure of the project was already expected. Moreover, the high-investment skyscraper construction was not favourably regarded by the Muscovites. With the economic crisis that was advancing, citizens considered the expensive project an emblem of the Moscow plutocracy.

The names of most of the above-mentioned tall buildings alternate the words *bashnya* and *tower*, forming a real linguistic pastiche. If we take into account the etymology of the two words, as explained before, they symbolized the Western and the Eastern lifestyle, alternately and in

belongs to the Russian businessman Oleg Malis (Олѐг Адольфович Малис) and its concept is by Enka Design, in collaboration with NBBJ.

¹ Башня «Эволюция» (Bashnya Evolyutsiya). Built between 2011 and 2014, the 55-story office building has a height of 246 metres (807 ft). Its futuristic DNA-like shape doesn't go unnoticed in. the building was designed by British architect Tony Kettle in collaboration with University of Edinburgh's Professor of Art Karen Forbes. Since 2016 it has been the headquarters of *Transneft* (Транснефть), the largest oil pipeline company in the world.

² IQ-квартал (IQ-kvartal). Built between 2008 and 2016, the mixed-use complex is composed of two skyscrapers and a high-rise building and was designed by NBBJ.

³ Башня на Набережной (Bashnya na Naberezhnoy) literally means Tower on the Embankment. Built between 2003 and 2007, the office complex was designed by RTKL, in collaboration with Enka.

⁴ Северная Башня (Severnaya bashnya) was built between 2004 and 2007 by Strabag SE.

combination. However, these buildings were also the tangible example of the absence of law in Moscow.

Moreover, in his last years as mayor, Luzhkov has lacked a comprehensive view of Moscow's urban development, especially if one considers the social gap between modern neighbourhoods with skyscrapers, that are part of Moscow's ambitious project as a global city, and the anonymous high-rise building of suburban *микрорайоны*¹. Moreover, the above-mentioned severe international financial crisis slowed down the inflow of capital from abroad. Finally, corruption inside Luzhkov's clan in the management of Moscow public affairs became too evident and, therefore, badly tolerated not only by the citizens, but by the Putin-led federal elite. Luzhkov died recently, on December 10 of this year. At his funeral ceremony, Russian President Vladimir Putin said the following words in public: «He was a personality of truly extraordinary scale. A fiery, daring politician, an energetic and talented organiser and an open, kind-hearted person» (Foy, 2019). Despite these fine words, Luzhkov was fired by Putin over loss of confidence in 2010. After returning from a holiday in Austria, the «Moscow Duce» was accused of massive fraud and dismissed by President Dmitry Medvedev at the end of September 2010.

Luzhkov was replaced with Sergey Sobyenin², one of the loyal Governor-Siloviki. At the beginning of his term, Sobyenin continued «where Luzhkov left off, to the extent that he created the conditions to further commodify urban space and polarise society» (Büdenbender & Zupan, 2017, p. 304). Luzhkov was dismissed because of a combination of global and local processes: the international financial crisis, the rise of a protest movement in Moscow and the intensification of rivalry between the federal and Moscow elites.

Sobyenin applied a new model for Moscow urban development, based on three key elements: the reorganisation of spatial boundaries and hierarchies; the upgrading of public spaces; and the adoption of critical urbanist initiatives and planning practices. A new city plan was announced already in 2011.

With the implementation of new city plans announced in 2011, Moscow has undergone a facelift. Sparkling glass façades have been juxtaposed with old, crumbling, unrenovated Soviet tower blocks. Orthodox churches destroyed years ago under Stalin have been entirely reconstructed, but with the addition of contemporary features for the twenty-first century. A new shopping arcade showcasing

¹ Microrayons or microdistricts.

² Сергей Семёнович Собянин.



Western fashions at eye-watering prices has been implanted in the city centre, topped with a cupola and mythological figures. A giant park has been unveiled to glorify Soviet triumphs in war, including as its centrepiece the figure of St George slaying the dragon. The Stalinist vysotki, the seven elaborate skyscrapers scattered across the city's Soviet landscape, have welcomed twenty-first-century additions to their ranks. A collection of giant skyscrapers has also arisen from the banks of the river to form a new business district, which includes the tallest building in Europe (Griffiths, 2014, p. 53).

In the first months of his term of office, Sobyenin tried to lift Moscow out of the economic crisis and create new urban spaces, through a new regulation of the urban economy and a better quality of urban space. Following canons in contrast to the past, Sobyenin tried to abandon a populist and authoritarian approach towards Muscovites, that had characterized the Luzhkov era. He replaced the old managers of the city planning department with young officials who attended universities in Europe and the United States, showing citizens an administration that, at least apparently, seemed more transparent than the previous one. In this context, developing high-rise construction was economically advantageous in a megacity like Moscow, which aimed to be a centre of international trade. At the same time, supertall skyscrapers gave prestige to the administration, having an effect of economic stability and international prestige (Sergievskaya, Pokrovskaya, & Vorontsova, 2018). After the financial crisis, Moscow has returned at the beginning of the second decade of the new millennium to a city with a strong global potential, being part of the mosaic of international urban planning models through building best practices, that reflected the tastes of the Western-oriented middle class. A new urban strategy was adopted, which promoted Moscow as a comfortable city¹, in sharp contrast with the neoliberal urbanism of Luzhkov era.

Sobyenin has also encouraged competitions open to foreign architectural firms and public events with international relevance dedicated to urban planning, such as the *Moscow Architectural Biennale*, the *Moscow Urban Forum*, and the *SSC Conference*. Sobyenin's «New Moscow»² has

¹ «When Sergey Sobyenin was appointed in 2010, his administration developed a five-year programme called “Moscow: a city comfortable for life” (Pravitelstvo Moskvy 2014). This programme began in 2013 and entailed a shift in the city’s placemaking strategy, rebranding Moscow’s profile into a convenient city with a high-quality urban environment» (Büdenbender & Zupan, 2017, p. 303).

² «Following the proposals for the construction of New Moscow in the summer of 2011, the old city’s boundaries were drastically extended on 1 July 2012, thereby increasing its territory by 2.39 times. By focusing on Luzhkov’s manipulation of the past in space, the strengthening of concentric Moscow, the

been transformed from a chaotic to a comfortable city, from an authoritarian citadel to a space belonging to the people. But in the last two years the current mayor of Moscow has aimed at transforming the *New City* into the *Business City*, despite economic sanctions and difficult relations with the West. The new organization of Moscow's urban space has replaced the concentric structure that has characterized the city for over eighty years with a rather eccentric image of the peripheries. In 2017 Sobyenin decided to get rid of the anonymous image of the Moscow suburbs inherited from the Soviet period through a controversial demolition program of more than 4,000 housing estates built between the 1950s and 1960s in various location across the city (Andreev, 2018)¹.

From a conglomerate of monotonous apartment complexes inherited from the Soviet era to upscale downtown condominiums and spectacular compounds at the edge of the city and beyond, including the development of a new “Business City” three miles away from the Red Square (Medvedkov & Medvedkov, 2007, p. 245).

Between May and June 2017 thousands of Muscovites took to the streets to protest against mass demolitions. Sobyenin's plan was subjected to vigorous criticism because of the threat to infringe of right of private property (Evans, 2018). On May the 14th protesters gathered around the metro station *Chistyye Prudy*² (Чистые пруды), on May the 27th May, *Suvorovskaya square*³, and on June the 12th on the *Sakharov Boulevard*⁴. He declared at the 2018 Moscow Urban Forum that: «The development of Moscow is not a threat, but the locomotive of development of the whole country». Sobyenin has dusted off the term «blagoustroistvo» from the past, giving it a mundane meaning⁵, but the critical attitude of citizens towards urban planning policies is an indication that the Russian rigid authoritarian system has cracks that are slowly expanding. Sobyenin's attempt to reconcile an autocratic management of the city based on the parameters and instruments typical of Western democracies with the

aspirations to render Moscow a global player, and the latest plans to build New Moscow» (Griffiths, 2014, p. 54).

¹ See Правительство Москвы, *Постановление, О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве*, (last accessed 26 December 2019). The *Khrushchyovki peak*, as it is called in the decree «Programme of Renovation of the housing stock» of August the 1st 2017, was reached in 1963-1964, when 2.5 million km² of housing were built (Decree N-497 2017).

² Чистые пруды.

³ Суворовская площадь.

⁴ Проспект Академика Сахарова (Prospekt Akademika Sakharova).

⁵ Благоустройство is an untranslatable Russian word referring to the improvement (and/or beautification) of public services or infrastructure (Воскресенская, 2008). Blagoustroistvo means something like the arrangement, provision or construction (устройство, ustroistvo) of a blessing (благо, blago).



transparency of political processes and the consent of the people presents risks of social tensions and unrest.

CONCLUSION

Today Moscow is pervaded by a ferment which is typical of the new financial capitals. Its contemporary urban grandeur is based on high-rise buildings inserted in the pre-existing circular, hierarchical-feudal structure, designed for the *Seven Sisters* around the Kremlin, which is considered the heart of the city. Today Moscow is a multi-ethnic megalopolis and the habitat of the *post-sovky* (post-Homo Sovieticus), with its new dizzying skyscrapers, symbols of a social and urban change, that once again consecrates Moscow to an extraordinary urban laboratory. With the transition from State to private ownership and the abolition of *propiskas*, residential mobility has increased significantly, bringing with it a greater awareness of urban sustainability among citizens. Therefore, the Muscovites strongly demand today buildings that are suitable for the needs of a free market economy, but also liveable places. *De facto*, however, innovative building construction is concentrated in the *Business City*, which is integrated into global capital flows. Its skyline is made up of avant-garde offices and luxury hotels, built like a panacea that seems to remain only an ideological construction that is struggling to materialize. And while Moscow tries to develop in a polycentric way, paradoxically the Russian Federation is trapped by centipede forces. Despite its attempt to find its own identity independent of the central government, Moscow exudes power through its modern turreted belt, confusingly superimposing different images, starting from the Nineteenth-century *matushka-Moskva* to the eclectic pastiche of the *Moscow City*, made of huge glass towers. This phenomenon confirms once again that an ideological symbolism remains imprinted on Moscow urban landscape. The image of the heroic statues of the past, obscured by the new skyscrapers, confirm a constant utopian dispersion, that overshadows Moscow urban development of the 21st century.

References

- Alden, J., Beigulenko, Y., & Crow, S. (1998). Moscow: Planning for a world capital city towards 2000. *Cities*, 15(5), 361-374.
- Andreev, I. (2018). Moscow program of renovation of housing in the context of inter-party competition. *MATEC Web of Conferences*, 251, 1-11. DOI: 10.1051/matecconf/201825105038

- Andrusz, G. D. (1984). *Housing and Urban Development in the USSR*. Albany, N.Y.: State University of New York Press.
- Argenbright, R. (2018). The evolution of New Moscow: from panacea to polycentricity. *Eurasian Geography and Economics*, 59(3-4), 408-435.
- Astapova, A. (2013). To what Extent are Jokes Reactional? (Based on a Joke Cycle about Yury Luzhkov's Dismissal). *Folklore: Electronic Journal of Folklore*, 53, 7-28.
- Barthes, R. (1986). Semiology and the Urban. *The city and the sign: An introduction to urban semiotics*, 8, 7-98.
- Barthes, R. (1988). Semiology and urbanism. In R. Barthes. *The semiotic challenge* (pp. 191-201). New York: Hill a. Wang.
- Behrends, J. C. (2015). Constructing a New Moscow: Observations on a Changing Symbol of Soviet Modernity. *New Literary*, 133(3), 18-29. (in Russian)
- Blake, P. (1947). The Soviet Architecture Purge. *Architectural Record*, 106(3), 127-129. Retrieved from <https://www.architecturalrecord.com/articles/11452-the-soviet-architecture-purge>
- Brandenberger, D. (2002). *National Bolshevism: Stalinist mass culture and the formation of modern Russian national identity, 1931-1956* (Russian Research Center studies, Vol. 93). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Büdenbender, M., & Zupan, D. (2017). The evolution of neoliberal urbanism in Moscow, 1992–2015. *Antipode*, 49(2), 294-313.
- Cetin, M. (2011). Moscow; an urban pendulum swinging between the glorification of the proletariat and the celebration of absolutist power under the changing winds of globalization. *International Journal of Civil & Environmental Engineering*, 11(3), 1-12.
- Clark, T., & Tsibizova, L. (2017). The architectural legacy of 1990s Moscow: [Interview with Daria Paramonova]. In *Russia, History*. Retrieved from <http://inrussia.com/the-architectural-legacy-of-1990s-moscow>.
- Cooke, C. (1997). Beauty as a route to 'the Radiant Future': Responses of Soviet architecture. *Journal of Design History*, 10(2), 137-160.
- Demintseva, E. (2017). Labour migrants in post-Soviet Moscow: patterns of settlement. *Journal of ethnic and migration studies*, 43(15), 2556-2572.
- Djilas, M. (1957). *The New Class: An Analysis of the Communist System*. Montreal: Harvest House.



- Dmitrieva, M. (2006). Moscow architecture between Stalinism and Modernism. *International Review of Sociology–Revue Internationale de Sociologie*, 16(2), 427-450.
- Evans, A. (2018). Property and Protests: The Struggle Over the Renovation of Housing in Moscow. *Russian Politics*, 3(4), 548-576. DOI: 10.1163/2451-8921-00304005
- Foy, H. (2019, December) Yuri Luzhkov, Russian politician, 1936-2019: The mayor who rebuilt Moscow in his own image. *Financial Times*. Retrieved from <https://www.ft.com/content/b886a468-1c29-11ea-9186-7348c2f183af>.
- Golovina, S., & Oblasov, Y. (2018). The architecture and artistic features of high-rise buildings in USSR and the United States of America during the first half of the twentieth century. In *E3S Web of Conferences*, (Vol. 33, pp. 1-18). DOI: 10.1051/e3sconf/20183301032
- Golubchikov, O. (2004). Urban planning in Russia: towards the market. *European Planning Studies*, 12(2), 229-247.
- Griffiths, M. J. (2014). *Writing the cityscape: Narratives of Moscow since 1991* (Doctoral dissertation, UCL. University College London).
- Gunko, M., Bogacheva, P., Medvedev, A., & Kashnitsky, I. (2018). Path-Dependent Development of Mass Housing in Moscow, Russia. In D. B. Hess, T. Tammaru, & M. van Ham, (Eds.). *Housing Estates in Europe* (pp. 289-311). Cham: Springer International Publishing.
- Harding, L. (2013). Homo Sovieticus: Stalin's failed European experiment. *New Eastern Europe*, 6(1), 145-147.
- Harvey, D. (2003). The right to the city. *International Journal of Urban and Regional Research*, 27(4), 939-941.
- Hoisington, S. S. (2003). "Ever higher": the evolution of the project for the Palace of Soviets. *Slavic Review*, 62(1), 41-68.
- Honda, A. (2012). Post-Soviet Architecture: Future-phobia. *Japanese Slavic and East European Studies*, 33, 3-16.
- Humphrey, C. (2002). *The unmaking of Soviet life: Everyday economies after socialism*. Ithaca, N.Y.; London: Cornell University Press.
- Huxtable, A. L. (1984). *The Tall Building Artistically Reconsidered: The Search for a Skyscraper Style*. New York: Pantheon Books.
- Iconopisceva, O. G., & Proskurin, G. A. (2018). Regional approaches in high-rise construction. In *E3S Web of Conferences*, (Vol. 33, pp.1-10). DOI: 10.1051/e3sconf/ 20183301023
- Inizan, G., & de Lille, L. C. (2019). The last of the Soviets' home: Urban demolition in Moscow. *Geographia Polonica*, 92(1), 37-56.

- Jensen, D. N. (2000). The boss: How Yury Luzhkov runs Moscow. *Demokratizatsiya*, 8(1), 83–122.
- Kappeler, A. (2008). *Rußland als Vielvölkerreich: Entstehung-Geschichte-Zerfall* (Beck'sche Reihe, Vol. 1447). München: CH Beck.
- Kopp, A. (1985). Le gigantisme architectural en Union soviétique. *Communications*, 42(1), 45-67.
- Kosareva, N., & Struyk, R. (1993). Housing privatization in the Russian Federation. *Housing Policy Debate*, 4(1), 81-100.
- Kruzhkov, N. (2014). *High-rise Stalinist Moscow. Legacy of the era*. Moscow: Centropoligraph Publishing House. (in Russian)
- Kuznetsov, S. (2015b) Sergey Kuznetsov: We needed to find a sensible compromise between user comfort and price. In *Project Russia* (77, New standards (3), pp. 64–71). Moscow, Amsterdam: A-Fond Publishers.
- Le Corbusier (1991). *Precisions on the present state of architecture and city planning: With an American prologue, a Brazilian corollary followed by the temperature of Paris and the atmosphere of Moscow* (E. S. Aujame, trans.). Cambridge, MA; London: Mit Press.
- Lefebvre, H. (1996). The right to the city. In H. Lefebvre. *Writings on cities* (pp. 63-181). Oxford: Blackwell.
- Lemon, A. (2000). Talking transit and spectating transition: The Moscow metro. In D. Berdahl, M. D. Bunzl, & M. Lampland, M. (Eds.). *Altering States: ethnographies of transition in Eastern Europe and the former Soviet Union* (pp. 14-39). Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press.
- Lotman, M. (2002). Umwelt and semiosphere. *Σημειωτική-Sign Systems Studies*, 30(1), 33-40.
- Maslovskaya, O., & Ignatov, G. (2018). Conceptions of Height and Verticality in the History of Skyscrapers and Skylines. In *E3S Web of Conferences*, (Vol. 33(1)3, pp. 1-7). DOI: 10.1051/e3sconf/20183301005
- Medvedkov, Y., & Medvedkov, O. (2007). Upscale housing in post-Soviet Moscow and its environs. In K. Stanilov, (Ed.). *The post-socialist city* (pp. 245-265). Dordrecht: Springer.
- Montefiore, S. S. (2004). *Stalin: The court of the red tsar*. London: Phoenix.
- Paperny, V. (2006). *Culture two* (2nd ed.). Moscow: New Literary Observer. (in Russian)
- Paramonova, D. (2013). *Mushrooms, Mutants and Others: Architecture of the Luzhkov Era*. Moscow: Strelka press. (in Russian)



- Pliukhanova, M. B. (1995). *Plots and symbols of the Moscow Kingdom* (Vol. 2). S.-Petersburg: Akropol. (in Russian)
- «Russia» on a start, (2007). *Tall Buildings*, 5, 124.
- Sergievskaia, N., Pokrovskaya, T. & Vorontsova, N. (2018). The advisability of high-rise construction in the city. *E3S Web of Conferences*, 33, 01-10. DOI: 10.1051/e3sconf/20183301037
- Simmel, G. (1997). The Sociology of Space. In D. Frisby & M. Featherstone (Eds.), *Simmel on culture: Selected writings* (pp. 137-169). London: Sage.
- Simon, E., Simon, S., Robson, W. A., & Jewkes, J. (2014). *Moscow in the Making*. London, New York: Routledge.
- Smith, M. B. (2010) *Property of communists: The urban housing program from Stalin to Khrushchev*. DeKalb, Ill.: Northern Illinois University Press.
- Soja, E. W. (2003). Writing the city spatially. *City*, 7(3), 269-280.
- Starodubtsev, Y., Myers, J., & Goetz, L. (2011). Case study: Capital city towers, Moscow. *CTBUH Journal*, (2), 12-17.
- Starr, S. F. (1979). The social character of Stalinist architecture. *Architectural Association Quarterly*, 11(2), 49-55.
- Van Baak, J. (2009). Anti-Houses. Under the doom of the kommunalka. Deformations of the utopian house. In J. J. Van Baak, R. Grübel, A. G. F. Van Holk, & W. G., Weststeijn., *The house in Russian literature: A mythopoetic exploration* (Studies in Slavic Literature and Poetics, vol. 53, pp. 419-426). Amsterdam, New York: Rodopi.
- Vasilyeva, A. V. & Kosenkova, Y. L. (2015). Social tasks and practice of housing development of Moscow during 1930-1940 years. In *The New Ideas of New Century. The International Scientific Conference Proceedings of the FAD PNU* (Vol.1, pp. 37-43). Khabarovsk: Published by PNU. (in Russian)
- Vendina, O. I. (2004). Are Ethnic Neighborhoods Possible in Moscow? *The Russian Public Opinion Herald. Data. Analysis. Discussions*, 3, 52-64. (in Russian)
- Wolfe, R. L. (2013). Stalinism in art and architecture, or, the first postmodern style. *Situations: Project of the Radical Imagination*, 5(1).
- Zeltsman, I. (2011). Luzhkov and Void. Grigory Revzin's conversation with students of the Strelka Institute. In *Project Russia* (62(4), pp. 81-91). Moscow, Amsterdam: A-Fond Publishers. (in Russian)
- Zlydneva, N. (2008). The tower as a semiotic message. In E. Näripea, V. Sarapik, J. Tomberg (Eds.) *Koht ja Paik = Place and Location* (VI, pp. 83-90). Tallinn: Eesti Kirjandusmuuseum.

Zupan, D., & Büdenbender, M. (2018). Neoliberale Stadtentwicklung in Transformation. *Pnd Online: ein Magazin mit texten und Diskussionen zur Entwicklung von Stadt und Region, 1*, 103-112.

Список литературы

- «Russia» on a start, (2007). *Tall Buildings*, 5, 124.
- Alden, J., Beigulenko, Y., & Crow, S. (1998). Moscow: Planning for a world capital city towards 2000. *Cities*, 15(5), 361-374.
- Andreev, I. (2018). Moscow program of renovation of housing in the context of inter-party competition. *MATEC Web of Conferences*, 251, 1-11. DOI: 10.1051/mateconf/201825105038
- Andrusz, G. D. (1984). *Housing and Urban Development in the USSR*. Albany, N.Y.: State University of New York Press.
- Argenbright, R. (2018). The evolution of New Moscow: from panacea to polycentricity. *Eurasian Geography and Economics*, 59(3-4), 408-435.
- Astapova, A. (2013). To what Extent are Jokes Reactional? (Based on a Joke Cycle about Yury Luzhkov's Dismissal). *Folklore: Electronic Journal of Folklore*, 53, 7-28.
- Barthes, R. (1986). Semiology and the Urban. *The city and the sign: An introduction to urban semiotics*, 8, 7-98.
- Barthes, R. (1988). Semiology and urbanism. In R. Barthes. *The semiotic challenge* (pp. 191-201). New York: Hill a. Wang.
- Blake, P. (1947). The Soviet Architecture Purge. *Architectural Record*, 106(3), 127-129. Retrieved from <https://www.architecturalrecord.com/articles/11452-the-soviet-architecture-purge>
- Brandenberger, D. (2002). *National Bolshevism: Stalinist mass culture and the formation of modern Russian national identity, 1931-1956* (Russian Research Center studies, Vol. 93). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Büdenbender, M., & Zupan, D. (2017). The evolution of neoliberal urbanism in Moscow, 1992–2015. *Antipode*, 49(2), 294-313.
- Cetin, M. (2011). Moscow; an urban pendulum swinging between the glorification of the proletariat and the celebration of absolutist power under the changing winds of globalization. *International Journal of Civil & Environmental Engineering*, 11(3), 1-12.
- Clark, T., & Tsibizova, L. (2017). The architectural legacy of 1990s Moscow: [Interview with Daria Paramonova]. In *Russia, History*.



- Retrieved from <http://inrussia.com/the-architectural-legacy-of-1990s-moscow>.
- Cooke, C. (1997). Beauty as a route to ‘the Radiant Future’: Responses of Soviet architecture. *Journal of Design History*, 10(2), 137-160.
- Demintseva, E. (2017). Labour migrants in post-Soviet Moscow: patterns of settlement. *Journal of ethnic and migration studies*, 43(15), 2556-2572.
- Djilas, M. (1957). *The New Class: An Analysis of the Communist System*. Montreal: Harvest House.
- Dmitrieva, M. (2006). Moscow architecture between Stalinism and Modernism. *International Review of Sociology–Revue Internationale de Sociologie*, 16(2), 427-450.
- Evans, A. (2018). Property and Protests: The Struggle Over the Renovation of Housing in Moscow. *Russian Politics*, 3(4), 548-576. DOI: 10.1163/2451-8921-00304005
- Foy, H. (2019, December) Yuri Luzhkov, Russian politician, 1936-2019: The mayor who rebuilt Moscow in his own image. *Financial Times*. Retrieved from <https://www.ft.com/content/b886a468-1c29-11ea-9186-7348c2f183af>.
- Golovina, S., & Oblasov, Y. (2018). The architecture and artistic features of high-rise buildings in USSR and the United States of America during the first half of the twentieth century. In *E3S Web of Conferences*, (Vol. 33, pp. 1-18). DOI: 10.1051/e3sconf/20183301032
- Golubchikov, O. (2004). Urban planning in Russia: towards the market. *European Planning Studies*, 12(2), 229-247.
- Griffiths, M. J. (2014). *Writing the cityscape: Narratives of Moscow since 1991* (Doctoral dissertation, UCL. University College London).
- Gunko, M., Bogacheva, P., Medvedev, A., & Kashnitsky, I. (2018). Path-Dependent Development of Mass Housing in Moscow, Russia. In D. B. Hess, T. Tammaru, & M. van Ham, (Eds.). *Housing Estates in Europe* (pp. 289-311). Cham: Springer International Publishing.
- Harding, L. (2013). Homo Sovieticus: Stalin’s failed European experiment. *New Eastern Europe*, 6(1), 145-147.
- Harvey, D. (2003). The right to the city. *International Journal of Urban and Regional Research*, 27(4), 939-941.
- Hoisington, S. S. (2003). “Ever higher”: the evolution of the project for the Palace of Soviets. *Slavic Review*, 62(1), 41-68.
- Honda, A. (2012). Post-Soviet Architecture: Future-phobia. *Japanese Slavic and East European Studies*, 33, 3-16.

- Humphrey, C. (2002). *The unmaking of Soviet life: Everyday economies after socialism*. Ithaca, N.Y.; London: Cornell University Press.
- Huxtable, A. L. (1984). *The Tall Building Artistically Reconsidered: The Search for a Skyscraper Style*. New York: Pantheon Books.
- Iconopisceva, O. G., & Proskurin, G. A. (2018). Regional approaches in high-rise construction. In *E3S Web of Conferences*, (Vol. 33, pp.1-10). DOI: 10.1051/e3sconf/20183301023
- Inizan, G., & de Lille, L. C. (2019). The last of the Soviets' home: Urban demolition in Moscow. *Geographia Polonica*, 92(1), 37-56.
- Jensen, D. N. (2000). The boss: How Yury Luzhkov runs Moscow. *Demokratizatsiya*, 8(1), 83–122.
- Kappeler, A. (2008). *Rußland als Vielvölkerreich: Entstehung-Geschichte-Zerfall* (Beck'sche Reihe, Vol. 1447). München: CH Beck.
- Kopp, A. (1985). Le gigantisme architectural en Union soviétique. *Communications*, 42(1), 45-67.
- Kosareva, N., & Struyk, R. (1993). Housing privatization in the Russian Federation. *Housing Policy Debate*, 4(1), 81-100.
- Kuznetsov, S. (2015b) Sergey Kuznetsov: We needed to find a sensible compromise between user comfort and price. In *Project Russia* (77, New standards (3), pp. 64–71). Moscow, Amsterdam: A-Fond Publishers.
- Le Corbusier (1991). *Precisions on the present state of architecture and city planning: With an American prologue, a Brazilian corollary followed by the temperature of Paris and the atmosphere of Moscow* (E. S. Aujame, trans.). Cambridge, MA; London: Mit Press.
- Lefebvre, H. (1996). The right to the city. In H. Lefebvre. *Writings on cities* (pp. 63-181). Oxford: Blackwell.
- Lemon, A. (2000). Talking transit and spectating transition: The Moscow metro. In D. Berdahl, M. D. Bunzl, & M. Lampland, M. (Eds.). *Altering States: ethnographies of transition in Eastern Europe and the former Soviet Union* (pp. 14-39). Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press.
- Lotman, M. (2002). Umwelt and semiosphere. *Σημειωτική-Sign Systems Studies*, 30(1), 33-40.
- Maslovskaya, O., & Ignatov, G. (2018). Conceptions of Height and Verticality in the History of Skyscrapers and Skylines. In *E3S Web of Conferences*, (Vol. 33(1)3, pp. 1-7). DOI: 10.1051/e3sconf/20183301005
- Medvedkov, Y., & Medvedkov, O. (2007). Upscale housing in post-Soviet Moscow and its environs. In K. Stanilov, (Ed.). *The post-socialist city* (pp. 245-265). Dordrecht: Springer.



- Montefiore, S. S. (2004). *Stalin: The court of the red tsar*. London: Phoenix.
- Sergievskaya, N., Pokrovskaya, T. & Vorontsova, N. (2018). The advisability of high-rise construction in the city. *E3S Web of Conferences*, 33, 01-10. DOI: 10.1051/e3sconf/20183301037
- Simmel, G. (1997). The Sociology of Space. In D. Frisby & M. Featherstone (Eds.), *Simmel on culture: Selected writings* (pp. 137-169). London: Sage.
- Simon, E., Simon, S., Robson, W. A., & Jewkes, J. (2014). *Moscow in the Making*. London, New York: Routledge.
- Smith, M. B. (2010) *Property of communists: The urban housing program from Stalin to Khrushchev*. DeKalb, Ill.: Northern Illinois University Press.
- Soja, E. W. (2003). Writing the city spatially. *City*, 7(3), 269-280.
- Starodubtsev, Y., Myers, J., & Goetz, L. (2011). Case study: Capital city towers, Moscow. *CTBUH Journal*, (2), 12-17.
- Starr, S. F. (1979). The social character of Stalinist architecture. *Architectural Association Quarterly*, 11(2), 49-55.
- Van Baak, J. (2009). Anti-Houses. Under the doom of the kommunalka. Deformations of the utopian house. In J. J. Van Baak, R. Grübel, A. G. F. Van Holk, & W. G., Weststeijn., *The house in Russian literature: A mythopoetic exploration* (Studies in Slavic Literature and Poetics, vol. 53, pp. 419-426). Amsterdam, New York: Rodopi.
- Wolfe, R. L. (2013). Stalinism in art and architecture, or, the first postmodern style. *Situations: Project of the Radical Imagination*, 5(1).
- Zlydneva, N. (2008). The tower as a semiotic message. In E. Näripea, V. Sarapik, J. Tomberg (Eds.) *Koht ja Paik = Place and Location* (VI, pp. 83-90). Tallinn: Eesti Kirjandusmuuseum.
- Zupan, D., & Büdenbender, M. (2018). Neoliberale Stadtentwicklung in Transformation. *Pnd Online: ein Magazin mit texten und Diskussionen zur Entwicklung von Stadt und Region*, 1, 103-112.
- Берендс, Я. К. (2015). Строительство новой Москвы: меняющийся символ советской модерности. *Новое литературное обозрение*, 133(3), 18-29.
- Васильева, А. В. & Косенкова, Ю. Л. (2015). Социальные задачи и практика жилищного строительства Москвы рубежа 1930-1940-х годов. В *Новые идеи нового века: Материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ* (Т.1, сс. 37-43). Хабаровск: ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет».

- Вендина, О. И. (2004). Могут ли в Москве возникнуть этнические кварталы? *Вестник общественного мнения*, 3, 52-64.
- Зельцман, И. (2011). Лужков и пустота. Беседа Григория Ревзина со студентами Института Стрелка. In *Проект Россия = Project Russia* (62(4), сс. 81–90). Москва: А-Фонд; Амстердам: A-Fond Publishers.
- Кружков, Н. (2014). *Высотки сталинской Москвы. Наследие эпохи*. Москва: Центрполиграф.
- Паперный, В. (2006). *Культура два* (2–е изд., испр. и доп.). Москва: Новое литературное обозрение.
- Парамонова, Д. (2013). *Грибы, мутанты и другие: архитектура эры Лужкова*. Москва: Стрелка Пресс.
- Плюханова, М. Б. (1995). *Сюжеты и символы Московского царства* (Т. 2). С.-Петербург: Акрополь.



ST. PETERSBURG DATCHA'S AS A CULTURAL FRONTIER ZONE

Polina S. Churakova (a)

(a) Leningrad State University. 10 Petersburg sh., Pushkin, St. Petersburg, Russia 196605.
E-mail: sniaja[at]mail.ru

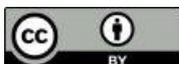
Abstract

In the article, the space of St. Petersburg datcha's in the second half of the XIX- early XX centuries is considered as a cultural frontier zone. In other words, as a space of simultaneous differentiation and interaction of two poles: the village and the city. Particular attention in the article is paid to the impact of the specifics of the datcha space on the nature of the formation and functioning of datcha community.

The intermediate location of datcha determines their uniqueness: dacha is in relatively equal proximity and distance from the city and village, as a result of which the properties and features of both of these spaces are manifested. These properties and traits leave their mark on the everyday life of the datcha community, including the set of sociocultural practices that are exist in it: the system of local self-government, forms of organization of leisure and out-of-leisure time of members of the datcha community, ways of physical and symbolic development of space. This is expressed in the fact that in the datcha is new ones appear and existing ones are being modernized in the urban or rural community ways of interaction, and therefore new sign systems appear and a new space is formed that cannot be unambiguously defined as urban or rural.

Keywords

St. Petersburg; the village; the city; cultural frontier zone; sociocultural practices; datcha community; material development of space; symbolical development of space; changes in the value system.



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ДАЧНЫЕ ПРИГОРОДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КАК ЗОНА КУЛЬТУРНОГО ПОГРАНИЧЬЯ

Чуракова Полина Сергеевна (а)

(а) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина». 196605,
 Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин Петербургское шоссе, д.10.
 E-mail: sniaja[at]mail.ru

Аннотация

Пространство дачных пригородов Санкт-Петербурга второй половины XIX – начала XX в. рассматривается в статье как зона культурного пограничья. Иначе говоря, как пространство одновременного разграничения и взаимодействия двух полюсов: села и города. Особое внимание в статье уделяется влиянию специфики дачных пригородных пространств на характер формирования и жизнедеятельности дачных сообществ.

Промежуточное расположение дачных пригородов определяет их уникальность: дачные пригороды находятся в относительно равной близости и дистанцированности от города и села, вследствие чего в них проявляются свойства и черты обоих этих пространств. Эти свойства и черты накладывают свой отпечаток на повседневность дачного сообщества, в том числе на набор имеющихся в нем социокультурных практик: системы местного самоуправления, форм организации досугового и внедосугового времени членов дачного сообщества, способов физического и символического освоения пространства. Выражается это в том, что в дачных пригородах возникают новые и модернизируются уже существующие в городском или сельском сообществе способы взаимодействия, следовательно, появляются новые знаковые системы и формируется новая среда, которую невозможно однозначно определить как городскую или сельскую.

Ключевые слова

Дачные пригороды; Санкт-Петербург; село; город; зона культурного пограничья; социокультурные практики; дачное сообщество; физическое освоение пространства; символическое освоение пространства; изменения в системе ценностей.



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Зона культурного пограничья представляет собой особое геокультурное пространство, складывающееся на границе двух и более культур (Бердник, 2013, стр. 57). Культурное пограничье, как отмечал Ю.М. Лотман, является «зоной культурного билингвизма, обеспечивающего семиотические контакты между двумя мирами, зоной "креолизованных" семиотических культур» (Лотман, 1992, стр. 13-14). Иначе говоря, новых социокультурных пространств, созданных в результате взаимодействия нескольких культур. Такие пространства оказываются одновременно близкими к исходным культурам и дистанцированными от них. Близкими – поскольку включают в себя элементы этих культур, в том числе традиции, нормы и ценности. Дистанцированными – поскольку, как правило, многие заимствованные элементы в них модифицируются и в своем новом виде уже не принадлежат к исходным культурам. Следовательно, зону культурного пограничья можно рассматривать как самостоятельное пространство, органично связанное с культурами, на границе которых оно сформировалось и развивается, но не являющееся вариантом какой-либо одной такой культуры (Григоричев, 2013, стр. 55-57).

В этом плане дачные пригороды Санкт-Петербурга второй половины XIX – начала XX вв. выступают как зона культурного пограничья: социокультурная локальность, не включенная ни в пространство города, ни в пространство села, но складывающаяся на их границе и использующая эту границу в качестве ресурса для развития (Григоричев, 2013, стр. 39). Формирование этого пограничного пространства было связано с несколькими факторами: с появлением новых представлений о качестве жизни и начавшейся санитарно-гигиенической пропагандой; с увеличением промышленного комплекса и возникшими в результате этого проблемами; с ростом цен на покупку, аренду и содержание недвижимости в столице; с расширением сети железных дорог (Малинова, 2005, стр. 15–20). Все эти факторы оказали значительное влияние на формирование у населения Санкт-Петербурга представления о необходимости сезонной миграции из столицы в пригороды и на освоение городскими жителями новых пространств, в частности сельских, которые ранее были практически не включены в сферу влияния города и городской культуры. Такие дачные пространства при этом не становились городскими, но и не оставались сельскими: в них происходило взаимодействие городской и сельской культуры, благодаря чему возникали как качественно новое локальное сообщество, с особой структурой и системой отношений, так и новые

социокультурные практики. Эти практики, составляющие фон повседневности для тех, кто был включен в дачное пространство, были чужими для тех, кто находился вне его, в пространстве города или села. В таком пограничном пространстве и горожанам, и принимающему сообществу (селянам) приходилось адаптироваться друг к другу как к носителям разных культурных традиций, приспосабливаться к новым условиям, возникшим в результате взаимодействия культур, а также создавать и принимать правила, регулирующие жизнь нового сообщества.

Специфика дачных пригородов как пограничной культурной зоны в значительной степени проявилась в социокультурных практиках, связанных с системой управления и благоустройства, системой организации досугового и вне-досугового времени, а также в практиках освоения и присвоения пространства.

Дачные пригороды Санкт-Петербурга во второй половине XIX – начале XX вв. не входили в сферу влияния городского общественного управления. Вместе с тем на их территории законодательством Российской империи не предусматривалось и местное самоуправление, которое было характерно для сельских поселений (Гусаров, 2016, стр. 131). Иначе говоря, дачные пригороды не имели возможности применить ни городскую систему управления, ни сельскую, поскольку смешанный состав дачного сообщества и специфические условия его существования не вписывались ни в одну устоявшуюся систему. Попыткой решения этой проблемы стало создание особых общественных организаций – Обществ благоустройства дачных местностей. Такие Общества формировались и действовали на основе уставов, утвержденных Министерством внутренних дел, но при этом не имели никакой административной власти и никаких общих законодательных норм, регулирующих благоустройство (Сизов, 1912, стр. 1-2). Членами таких Обществ были жители дачных поселений, владевшие земельными участками или арендовавшие их. Соответственно, в работе Общества принимали участие, как горожане, так и селяне.

Деятельность Обществ почти полностью была основана на добровольных началах, что вызывало определенные затруднения, связанные с нежеланием части дачевладельцев и даченанимателей принимать участие в их работе и вследствие этого с недостатком средств на исполнение нужд благоустройства. Земства в отдельных случаях выделяли средства на решение проблем благоустройства. Например, Обществу содействия благоустройства местности Лесного в 1896 г. «уездное земство ассигновало тысячу рублей на приведение



в порядок уличных канав» (Глезеров, 2013b, стр. 37-38), а Обществу содействия благоустройства Шувалова, Озерков и 1-го Парголово в период его работы помогло обеспечить освещение 18 улиц фонарями: «установку фонарей оплачивали владельцы участков, а их стоимость и эксплуатацию принимало на себя земство» (Глезеров, 2004, стр. 326). Но подобные ассигнования были не постоянными, поэтому многие Общества начинали заниматься доходной деятельностью.

Земства передавали в ведение Обществ благоустройства довольно обширный круг вопросов: улучшение санитарного состояния территории (строительство канализации, водопровода, уборка мусора, и т.д.), обеспечение противопожарной безопасности, развитие благоустройства дачного поселения (электрификация; телефонизация; содействие устройству, мощению и освещению улиц и т.д.), создание учебных и медицинских учреждений, а также проведение общественных, спортивных и культурных мероприятий (Глезеров, 2004; Гусаров, 2016). Организуя разнообразные мероприятия, в том числе спектакли, музыкальные и танцевальные вечера, лекции, спортивные соревнования, Общества могли получать дополнительные средства на благоустройство территории. Также они получали доход от устройства почтовых отделений, магазинов, библиотек, театров, и т.д. (Глезеров, 2004, стр. 324-325). В этом плане Общества выступали как юридические лица, что ставило их в промежуточное положение между городскими и сельскими органами управления: земства и города в целом по закону обладали статусом юридического лица, но органы их местного самоуправления этим статусом не обладали (Гильванова, 2013, стр. 119); Общества обладали юридическим статусом, несмотря на то, что физически они располагались на территории земств и воспринимались земствами как специфический орган самоуправления местности.

Пограничное положение Обществ в системе управления территорией также проявлялось в том, что, хотя они не имели административной власти, они могли разрабатывать правила строительной деятельности и внутренние правила проживания. Эти правила вносились в купчие и должны были соблюдаться всеми, кто владеет недвижимостью или арендует земельный участок на территории дачного поселения. Например, в некоторых дачных пригородах, в том числе в Шувалово, Озерках, Парголово, в купчую включался пункт о запрещении открывать на участках «питейные заведения и предприятия, пожароопасные и производящие шум» (Александрова, 2009, стр. 387). Также во многих местностях к обязательным пунктам в купчей относились правила, связанные с

вырубкой деревьев на участках, расположением строений, санитарным содержанием участков и т.д. В том числе, такие правила были в Стрельне, Сиверской, Лахте, Лесном и др. За исполнением этих правил следили Общества благоустройства: в случаях их нарушения, владельцам участков либо делался выговор, либо выписывались протоколы, которые впоследствии могли передаваться в земские управы (Глезеров, 2013а, стр. 221).

Помимо Обществ благоустройств в дачных пригородах возникали общества, не относившиеся к системе управления, но также организующие досуговое и вне-досуговое время членов дачного сообщества. Многие из них, в том числе общества спасения на водах, общества вспоможения бедным, общества трезвости и т.д., «переносились» из города в дачные пригороды в практически неизменном своем состоянии. Вместе с тем в дачных пригородах появлялись самобытные общества. К ним относятся добровольные пожарные общества и общества народных развлечений. Первое добровольное пожарное общество было организовано князем А.Д. Львовым в Стрельне в 1881 г. В столице в это время существовали профессиональные пожарные команды, однако они были не способны успешно противостоять пожарам в пригородах, поскольку не успевали вовремя прибыть на место пожаров. В сельской местности пожары тушили сами жители, неся пожарную повинность (Глезеров, 2013с, стр. 50-55). Но в дачных пригородах сельскую систему тушения пожаров применить было достаточно сложно: дачные территории постоянно расширялись и пожары по масштабу становились все больше, их нельзя было потушить собственными силами местных жителей. Решением возникшей проблемы стали дачные добровольные пожарные общества. Они занимались не только тушением пожаров, но и проводили лекции по противопожарной безопасности, устраивали благотворительные балы и спектакли, доходы от которых помогали приобретать необходимое пожарное оборудование (Засосов & Пызин, 1991, стр. 234-235). Подобные общества были в большинстве дачных пригородов и обслуживали не только дачную территорию, но и все близлежащие сельские поселения. Общества народных развлечений, в свою очередь, обычно были подразделением Обществ благоустройства и принимали на себя обязанности организации культурно-просветительской деятельности для дачного сообщества. Такое общество существовало, например, в Лесном (Глезеров, 2013b, стр. 66).



Преобладающая рекреационная функция дачных пригородов и их пограничное положение обусловило существование и сочетание здесь как традиционных сельских, так и столичных форм досуга. Причем в пространстве дачных пригородов сельские занятия получали более цивилизованный вид, а городские развлечения обретали большую свободу и неформальность. Горожане привнесли в дачную местность разнообразные спортивные занятия, активно входившие в моду в то время. К ним относился велосипедный спорт, футбол, лаун-теннис, катание на роликовых коньках, плавание, гимнастика, легкая и тяжелая атлетика, парусный и буерный спорт, лыжный и конькобежный спорт (Глезеров, 2013с, стр. 211-225). Для организации этих спортивных занятий в дачных пригородах обычно отводились отдельные территории и строились специальные учреждения. Например, в Стрельне в 1895 году был построен специальный циклодром (велотрек), который использовался для проведения велосипедных, автомобильных и мотоциклетных гонок, а также футбольных матчей и атлетических соревнований. Рядом с циклодромом в специальном павильоне была оборудована площадка для лаун-тенниса и занятий на роликовых коньках (Глезеров, 2009; Засосов & Пызин, 1991). Зимой в Лесном организовывались места проката финских лыж и специальной лыжной обуви (Глезеров, 2013b, стр. 70). В Лахте для двух теннисных клубов были созданы теннисные корты и в 1913 году построен «павильон на 150 человек, с крытой террасой, отдельными кабинетами правления и гардеробом» (Гусаров, 2016, стр. 227). В большинстве дачных пригородов, в том числе в Шувалово, Озерках, Парголово, Стрельне, Сиверской, также строились специальные причалы для яхт-клубов и устраивались футбольные поля. При этом нужно отметить, что развитие спортивных занятий в дачных пригородах иногда шло более активно, чем в столице, и спортивные кружки и школы, открывающиеся в таких пригородах, не только вносили существенный вклад в развитие отдельных популярных видов спорта, но и открывали новые для России виды. Например, одна из самых известных школ плавания в Санкт-Петербурге и его окрестностях, Шуваловская школа плавания, практиковала игру в мяч на воде и в этом виде спорта – водное поло – была первой в России (Глезеров, 2004, стр. 347).

Горожане также способствовали появлению в пригородах таких особых дачных явлений как летние дачные театры и музыкальные вокзалы. В летних театрах выступали как известные актеры столичных театров, гастролирующие по окрестностям Санкт-Петербурга, так и любительские труппы, в которых могли участвовать

петербуржцы-дачники и местные жители. Репертуар такого театра состоял из драм и легких комедий, которые играли профессионалы, и из дачных комедий, которые разыгрывались актерами-любителями (Глезеров, 2013 с, стр. 212-216). Практика музыкальных концертов в пригородах также приобрела своеобразие: в дачных поселениях возникали музыкальные вокзалы. Иначе говоря, вокзалы, которые в XIX веке часто становились местом выступления оркестра, функционировали в дачных пригородах как постоянные места проведения концертных вечеров. Такие вокзалы существовали, в том числе в Павловске и Озерках. В дачных поселениях произошло совмещение центров общественной и культурной жизни города и провинции, в результате которого образовался новый социокультурный феномен.

Из традиционных сельских форм досуга дачные пригороды заимствовали рыболовство, катание на лодках, купание, прогулки по лесу и парку, собирание грибов и ягод, верховую езду, охоту. Но и эти формы досуга были преобразованы, подстроены под горожан. К таким преобразованиям относилось строительство общественных и частных купален со специальными помостами, разбивка на территории леса общественных парков, создание охотничьих обществ (Засосов & Пызин, 1991; Гусаров, 2015).

Физическое освоение горожанами сельского пространства, то есть возникновение в сельской местности новых, не характерных для нее объектов, сопровождалось также символическим постижением и присвоением этого пространства (Григоричев, 2013, стр. 216-218). Покупая или арендуя дачу, горожанин присваивал себе и особый символический капитал: репутацию, связи и принадлежность к определенному сообществу. Местонахождение дачи конкретизировало, что это было за сообщество: представители аристократии и высшего среднего сословия обосновывались обычно в Павловске, Царском Селе, Стрельне, Петергофе и др., представители среднего сословия – в более близких и менее дорогих дачных пригородах, в том числе в Шувалово, Озерках, Парголово, Лахте, Лесном (Пискарев & Урлаб, 2007, стр. 127-129). Наличие дачи, ее внешний вид и местоположение становилось символом дохода, социального статуса и принадлежности к определённой социальной группе.

В процессе освоения пространство дачных пригородов наполнялось разнообразными символическими маркерами, в том числе, мифами, легендами и рассказами, связанными с историей местности, природными объектами, архитектурными сооружениями и



судьбами их владельцев и архитекторов, с жизнью деятелей истории и культуры, а также с повседневной жизнью дачников (Окладникова & Марова, 2014, стр. 59). Многие из этих рассказов существовали не только в устной форме, но и в виде театральных постановок в любительских летних театрах (Гусаров, 2015, стр. 23-24).

Еще одним средством символического освоения пространства служила одежда. В дачных пригородах она становится не столько символом социального статуса отдельного человека или группы, сколько символом принадлежности к социокультурному пространству и особому образу жизни дачных пригородов. Жизнь в дачных пригородах, особенно в начале XX века, сформировала и закрепила «определенную культуру поведения – внешний демократизм», что довольно ярко отражалось в костюме: «одежда на даче была самой непритязательной» (Гусаров, 2015, стр. 57), здесь позволялось отступать и от моды, и от этикета, и от определенных статусных символов в пользу удобства (*Дачники*, 1849, стр. 86). Внешний демократизм также проявлялся во взаимодействии людей, которое в дачных пригородах становилось более свободным и непринужденным. Это, в свою очередь, изменяло иерархию ценностей горожан, принадлежавших к дачному сообществу, но лишь на время жизни в дачном пространстве.

Сельские жители также участвовали в символическом освоении дачных пригородов: несмотря на то, что физически территория дачных пригородов изначально являлась сельской местностью, изменения, которые привнесли горожане, требовали адаптации местных жителей к новым условиям. Сельские жители тоже создавали мифы, легенды и рассказы, по-своему наделяли те или иные явления дачной жизни определенной символикой. При этом в их системе ценностей произошли большие изменения, чем у горожан. Главным образом это выразилось в смене критериев процветания и стабильности у сельских жителей: если раньше символом богатства выступала земля (поля и огороды), то с приходом горожан, этим символом сделался дачник (Александрова, 2009, стр. 463). В результате изменились экзистенциальные константы сельского жителя, поставившего себя в добровольную зависимость от горожан. Все это приводило к формированию в дачных пригородах качественно нового локального сообщества с относительно новой системой ценностей.

Физическое и символическое освоение пространства в дачных пригородах, таким образом, происходило одновременно с определением статусов «своего» и «чужого», то есть с

самоидентификацией определенной группы, и соответственно с формированием границ этого пространства. Границы дачного пространства при этом определялись не столько в конкретном (физическом) и условном (административном) плане, сколько в социокультурном, символическом: они располагались там, где «система взаимодействий индивидов или групп становилась преимущественно гомогенной <...>, основанной на городских либо сельских практиках» (Григоричев, 2014, стр. 23).

Список литературы

- Александрова, Е. Л. (2009). *Северные окрестности Петербурга. Историческое прошлое*. Санкт-Петербург: Лики России.
- Бердник, А. П. & Бердник, Е. А. (2013). Пограничный регион в междисциплинарном контексте культурологического знания. В Г. А. Салтык (Ред.), *Культурология в контексте гуманитарного знания: сборник статей* (с. 55-62). Курск: Курский государственный университет.
- Гильванова, И. Н. (2013). Субъекты местного самоуправления в законодательстве Российской империи (вторая половина XIX – начало XX в.). *Вестник Вятского государственного университета*, 3, 117-120.
- Глезеров, С. Е. (2004). *Петербург на север от Невы: Лесной, Удельная, Коломяги, Озерки-Шувалово*. Москва: Центрполиграф.
- Глезеров, С. Е. (2009). *Модные увлечения блистательного Петербурга: Кумиры. Рекорды. Курьезы*. Москва: Центрполиграф; Санкт-Петербург: МиМ-Дельта
- Глезеров, С. Е. (2013a). *Исторические районы Петербурга от А до Я*. Москва: Центрполиграф
- Глезеров, С. Е. (2013b). *Северные окраины Петербурга. Лесной, Гражданка, Ручьи, Удельная*. Москва: Центрполиграф.
- Глезеров, С. Е. (2013c). *Петербургские окрестности. Быт и нравы начала XX века*. Москва: Центрполиграф.
- Григоричев, К. В. (2013). *В тени большого города: социальное пространство пригорода*. Иркутск: Оттиск.
- Григоричев, К. В. (2014). *Пригородные сообщества как социальный феномен: формирование социального пространства пригорода*. PhD Thesis. Хабаровск.



- Гусаров, А. Ю. (2015). *Юго-западные предместья Петербурга. История, архитектура, дачная жизнь*. Санкт-Петербург: Паритет.
- Гусаров, А. Ю. (2016). *Северо-восточные предместья Петербурга*. Санкт-Петербург: Паритет.
- Дачники, или Как должно проводить лето на даче: наставление в виде рассказа, необходимое для всех жителей и посетителей дач*. (1849). Санкт-Петербург: В. Поляков.
- Засосов, Д. А. & Пызин, В. И. (1991). *Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов*. Ленинград: Лениздат.
- Лотман, Ю. М. (1992). О семиосфере. *Избранные статьи в 3-х т. (Т. I)*. Таллин: Александра.
- Малинова, О. Ю. (2005). *Социокультурные факторы формирования дачного пространства вокруг Санкт-Петербурга: 1870-1914*. PhD Thesis. Санкт-Петербург.
- Окладникова, Е. А. & Марова, А. О. (2014). Метапространство дачных ландшафтов северных окрестностей Петербурга конца XIX-начала XX веков. *Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования*, 2, 52-62.
- Пискарев, П. А. & Урлаб, Л. Л. (2007). *Милый старый Петербург. Воспоминания о быте старого Петербурга в начале XX века*. Санкт-Петербург: Гиперион.
- Сизов, М. И. (Ред.). (1912). *Поселок: иллюстрированный журнал по вопросам общественно-экономической жизни поселков и пригородов Петербурга*. Санкт-Петербург: М. И. Сизов.

References

- Alexandrova, E. L. (2009). *Northern suburbs of St. Petersburg. Historical past*. St. Petersburg: Faces Of Russia. (In Russian)
- Berdnik, A. P. & Berdnik, E. A. (2013). Border region in the interdisciplinary context of cultural knowledge. In G. A. Saltyk (Ed.), *Cultural studies in the context of humanitarian knowledge: collected papers* (pp. 55-62). Kursk: Kursk state University. (In Russian)
- Gil'vanova, I. N. (2013). Subjects of local government in the legislation of the Russian Empire (the second half of XIX – early XX century). *Herald of Vyatka State University*, 3, 117-120. (In Russian)
- Glezerov, S. E. (2004). *Petersburg North of the Neva: Lesnoj, Udel'naya, Kolomyagi, Ozerki-Shuvalovo*. Moscow: Centrepolygraph. (In Russian)

- Glezerov, S. E. (2009). *Fashion Hobbies of brilliant St. Petersburg: Idols. Records. Oddities*. Moscow: Centrepolygraph; St. Petersburg: MIM-Delta. (In Russian)
- Glezerov, S. E. (2013a). *Historical districts of St. Petersburg from A to Z*. Moscow: Centrepolygraph. (In Russian)
- Glezerov, S. E. (2013b). *Northern outskirts of St. Petersburg. Lesnoj, Grazhdanka, Ruch'i, Udel'naya*. Moscow: Centrepolygraph. (In Russian)
- Glezerov, S. E. (2013c). *The St. Petersburg area. Life and manners of the early twentieth century*. Moscow: Centrepolygraph. (In Russian)
- Grigorichev, K. V. (2013). *In the shadow of the big city: the social space of the suburbs*. Irkutsk: Impression. (In Russian)
- Grigorichev, K. V. (2014). *Suburban communities as a social phenomenon: the formation of suburban social space*. PhD Thesis. Khabarovsk. (In Russian)
- Gusarov, A. Y. (2015). *South-Western suburbs of St. Petersburg. History, architecture, country life*. St. Petersburg: Paritet. (In Russian)
- Gusarov, A. Y. (2016). *North-Eastern suburbs of St. Petersburg*. St. Petersburg: Paritet. (In Russian)
- Dacha dweller, or how to spend the summer in the dacha: instruction in the form of a story, necessary for all residents and visitors to the dacha*. (1849). St. Petersburg: V. Polyakov. (In Russian)
- Zasosov, D. A. & Pyzin, V. I. (1991). *From the life of St. Petersburg 1890-1910-ies*. Leningrad: Lenizdat. (In Russian)
- Lotman, Yu. M. (1992). *On the semiosphere. Selected articles in 3 vols. (Vol. I)*, Tallinn: Alexandra. (In Russian)
- Malinova, O. Yu. (2005). *Sociocultural factors of formation of suburban space around St. Petersburg: 1870-1914*. PhD Thesis. Saint-Petersburg. (In Russian)
- Okladnikova, E. A. & Marova, A. O. (2014). Metaspace of suburban landscapes of the Northern suburbs of St. Petersburg of the late XIX – early XX centuries. *Scientific result. Social and human studies*, 2, 52-62. (In Russian)
- Piskarev, P. A. & Uralab, L. L. (2007). *Dear old Petersburg. Memories of the life of old St. Petersburg in the early XX century*. St. Petersburg: Hyperion. (In Russian)
- Sizov, M. I. (Ed.). (1912). *Settlement: illustrated magazine on social and economic life of settlements and suburbs of St. Petersburg*. St. Petersburg: M. I. Sizov. (In Russian)



TRANSITIONS IN THE NOVEL *ZWISCHENSTATIONEN* BY VLADIMIR VERTLIB

Gabriella Pelloni (a)

(a) University of Verona. Via S. Francesco, 22, 37129 Verona VR, Italy.
E-mail: gabriella.pelloni[at]univr.it

Translation: Elina A. Sarakaeva. Hainan State University. Hainan province, Haikou city, Meilan district, isle of Haidiandao, People's Avenue, China. 570228. Email: 2689655292[at]qq.com

Abstract

The novel *Zwischenstationen* by the Austrian Jewish writer of Russian descent Vladimir Vertlib draws on personal experience in its depiction of the emigration of a Russian-Jewish family. The first-person narrator is the family's young and only son, who recounts the family's various "interstations" and his own quest for identity. While Vertlib's realist narrative achieves provisional closure at the level of the plot, it is structured so as to juxtapose voices, times and places in a way which explores a range of contemporary problems. These concern migration, memory, 20th century European history and the remembrance of the Third Reich, Jewish identity and Jewish diaspora. Taking as its starting point Vertlib's description of migrant condition, the article singles out the story told in *Zwischenstationen* as an emblematic achievement of a transcultural condition *par excellence*. In relation to Michael Epstein's concept of transculture this is established as a state of outsideness and not-belonging which is the precondition of a creative freedom paradigmatically conveyed by the decision of the protagonist to truly dedicate himself to writing.

Keywords

Vladimir Vertlib; *Zwischenstationen*; Migration; Transculturalism; Autofiction; Jewish Identity; Trauma; Displacement; Memory; Borders



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ПЕРЕХОДЫ В РОМАНЕ «ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СТАНЦИИ» ВЛАДИМИРА ВЕРТЛИБА

Пеллони Габриэлла (а)

(а) Университет Вероны. Via S. Francesco, 22, 37129 Verona VR, Италия
E-mail: gabriella.pelloni[at]univr.it

Перевод: Саракаева Элина Алиевна. Хайнаньский профессиональный колледж экономики и бизнеса Хайкоу. Hainan province, Haikou city, Meilan district, isle of Haidiandao, People's Avenue, China. 570228. Email: 2689655292[at]qq.com

Аннотация

Автор романа «Промежуточные станции»¹ – австрийский писатель Владимир Вертлиб, родом из российских евреев. В своем описании эмиграции русско-еврейской семьи Вертлиб опирается на личный опыт. Лирический герой романа – молодой человек, единственный сын в семье – повествует о различных “промежуточных станциях” в жизни своей семьи и о своих собственных поисках идентичности. Реалистическое повествование Вертлиба, достигая временного завершения на уровне сюжета, структурировано таким образом, чтобы, сопоставляя голоса, времена и места, исследовать целый ряд современных проблем. Эти проблемы касаются эмиграции, памяти, европейской истории XX века и воспоминаний о Третьем Рейхе, еврейской идентичности и еврейской диаспоры. Взяв за отправную точку описанные Вертлибом состояния эмигранта, статья рассматривает историю, рассказанную в романе «Промежуточные станции», как символическое достижение транскультурного состояния *par excellence*. Согласно концепции транскультуры Майкла Эпштейна, это состояние можно описать как состояние внешней и не-принадлежности, которое является предпосылкой творческой свободы, парадигматически передаваемой решением главного героя по-настоящему посвятить себя писательскому труду.

Ключевые слова

Владимир Вертлиб; «Промежуточные станции»; миграция; транскультурализм; авторская проза; еврейская идентичность; травма; перемещение; память; границы



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

¹ Прим. переводчика: роман Владимира Вертлиба “Zwischenstationen” опубликован на русском языке издательством Симпозиум (2009) под названием «Остановки в пути», перевод с немецкого В. Н. Ахтырской. Я придерживаюсь своей версии перевода названия. Элина Саракаева.



ВВЕДЕНИЕ

Я начну свою статью с цитаты из эссе Марицы Бодрожич, немецкой писательницы, родившейся в Хорватии:

«Никто не пишет книг, чтобы подчеркнуть принадлежность к такому уродливому слову, как эмигрант. (Это звучит как страшная болезнь!) Люди пишут книги для того, чтобы навсегда вычеркнуть из мира такие слова. И чтобы внести что-то другое: реальный язык, мир, жизнь» (Bodrožić, 2008, s. 67).

Этими словами выражается не только отношение писателя к эмигрантской литературе, но и сам смысл писательской деятельности. Однако это утверждение читается одновременно как обращение к литературоведению: это призыв к рассмотрению текстов исключительно с точки зрения эстетического потенциала и художественно-культурных достоинств. Понятие «другая литература» до недавнего времени бывшее специфическим термином немецкого литературоведения (Durzack et al., 2004), выделяет эмигрантскую литературу в рамках национальной литературы. Такому выделению противостоят многие писатели, которые, как и Бодрожич, нашли в немецком языке свою художественную родину.

Но в то же время критики все более решительно настроены против того, чтобы говорить о двух мирах или о мостах между культурами и языками. Скорее, подчеркивается необходимость рассматривать новую эмигрантскую литературу как транснациональное, транскультурное явление. В немецкоязычном регионе также говорят о литературе «пост-эмиграции» (Geiser, 2015): это нейтральный термин, просто описывающий литературу, созданную на основе опыта эмиграции; ее авторами могут быть представители, как первого, так и второго и третьего поколений эмигрантов. Рассмотрение эмигрантской литературы как отдельного явления было, пожалуй, лишь этапом на пути к возникновению новой мировой литературы – подход, который Дитер Лампинг считал теоретически плодотворным для нынешней литературной панорамы со ссылкой на Гёте (Lamping, 2010, 2019).

Можно предположить, что сегодняшняя транснациональная литература не является изобретением современного литературоведения. Из-за процесса глобализации и нынешних культурных миграций в наши дни можно действительно ожидать, что идеи Гете о всемирной литературе сбудутся. Диалог культур может быть полезен в социально-политической сфере, но он терпит неудачу

в сфере творческой деятельности. Писатель турецкого происхождения Зафер Шеноджак в своем сборнике афоризмов пишет несколько провокационно:

«Среди них нет меня, потому что я потерял направление» (Şenocak, 2001, s. 88).

Для Шеноджака поэзия Поля Целана – это важный указатель пути: в поэзии Целана обозначается не граница между двумя мирами, а порог, место перехода. Об этом Шеноджак пишет в цитированном выше афоризме:

«Мышление становится домом, в котором собираются, объединяются и из которого вместе поют и стреляют» (2001, p. 88).

Образ дома используется здесь как точка отсчета мышления и речи, позволяющая задавать вопросы, обращая их вовне. Следовательно, не существует отдельных культурных областей, к которым принадлежит человек, но лишь воображаемые дома и другие социальные помещения, которые не характеризуются пограничными территориями и даже растворяют их.

Творчество современных немецкоязычных писателей не-немецкого происхождения¹ характеризуется, согласно некоторым теоретикам (см. Hoffmann, 2006, s. 51ff), следующими особенностями:

1) наличием некоторых типичных элементов, порожденных опытом эмиграции, например, курсирование между двумя мирами, изображение путешествия и границ, но с перспективы культуры большинства – такова, например, семантика «дома» у Шеноджака. Отсюда следует, что актуальна не столько укоренённость в определенном месте, сколько опыт утраты, который затем сопровождается обретением новой идентичности. Экзистенциальное отношение к разным местам, как и многоязычие, становится основой существования.

2) проблема определения идентичности, связанная с утратой опыта – вот почему часто прозаические произведения написаны от первого лица, а в лирике характерна опосредованность субъективности.

¹ Прим. редактора и переводчика: авторское «nichtdeutscher» по отношению к писателям иноязычного происхождения, пишущим на немецком языке, в тексте данной статьи мы заменили на определение «не-немецкие писатели».



3) очень часто читателю представлены лирические описания прошлого, нарратив воспоминаний и размышлений, при этом культивируется специфический язык памяти. Многие произведения Владимира Вертлиба, чье творчество описывает моя статья, представляют собой путешествие в собственное детство или изложение истории семьи (Kucher, 2008).

В своей статье я представляю роман Владимира Вертлиба как переходную вежу от эмиграционной литературы как литературы, посвященной опыту эмиграции, к новой мировой космополитической литературе. Рассказанное в этом романе движение от эмиграции к писательскому труду я читаю через очки Михаила Эпштейна, беря за основу идею транскультурного измерения как конкретного образа жизни и конкретного жизненного принципа, что подразумевает творческий процесс «транскультурации» (Epstein, 2004). «Транскультурация» по Эпштейну означает процесс как пространственной, так и мнимой детерриториализации, включающий транснациональное движение, а также культурную и лингвистическую дислокацию.

«Промежуточные станции» Вертлиба я понимаю в этом смысле как один из этапов этого процесса, поданного как последовательность бесцельных переходов. Характерно, что последняя глава романа носит название «Выезд»: как говорит лирический герой другого романа Вертлиба, «Последнее желание», «человек живет постоянно в вечном времени» (2003, s. 69), всегда в «переходный период» (2003, s. 82).

В «Промежуточных станциях» только отец главного героя считает, что каждый последний переход ведет к цели. Что касается самого героя, то ему удается вырваться из ткани собственного рассказа только тогда, когда ошибочные поиски «настоящей родины» переходят в творческий процесс писательского труда, или как бы заменяются им. Писательский труд, по его собственным словам, хотя бы отчасти освободил Вертлиба от детских метаний: «С тех пор, как я начал писать и публиковать, для меня больше не встает вопрос о возможной эмиграции» (Malik, 2003, s. 22)

I

Первая самостоятельная публикация Вертлиба, его первый роман «Промежуточные станции», часто воспринимался как автобиография. Легко обнаружить внешние параллели между рассказанными историями и собственной биографией Вертлиба – ранняя эмиграция из СССР, десятилетний поиск Родины и извечная драма ребенка из маленькой семьи, которая не может никуда приехать. Таким образом,

кажется естественным отождествлять лирического героя с самим автором и принимать описанные события и тон повествования за подлинные. Однако против такого прочтения сам Вертлиб всегда возражал.

Роман Вертлиба не исчерпывается, конечно, автобиографической темой, тем не менее, биография автора недвусмысленно помещена в центр повествования: «Израиль – Австрия – Италия – Австрия – Нидерланды – снова Израиль – снова Италия – снова Австрия – США и Австрия окончательно» (Vertlib, 2012, s. 13) – это реальные станции жизненной одиссеи молодого писателя. Однако, в отличие от путешествия мифологического Одиссея, цель этих путешествий постоянно изменялась. Причиной эмиграции, как признает писатель, было его еврейское происхождение (см. Breysach, 2010): чтобы избежать антисемитских репрессий, которые препятствовали самореализации, родители Вертлиба сумели в 1971 году, когда ему было 6 лет, уехать из Советского Союза, где не было никаких перспектив.

Чувство, что тебе нигде не рады, тебя не понимают и не принимают, сопровождало всё детство мальчика. В основе этих переживаний лежат воспоминания о депортации, сопровождаемой недвусмысленным проклятием сотрудницы американской иммиграционной службы, как о том свидетельствует дневник будущего писателя: «Желаю вашему самолету потерпеть крушение, — намекала она, — чтобы мне никогда больше не пришлось сталкиваться с вашей семьей» (Vertlib, 2005). Эти слова указывают на травму, которая заставляет жизнь казаться выживанием, а выживание – случайностью. В случае Вертлиба это связано с травмой потомков, связано также с историей родителей, выживших в ленинградской блокаде. Вот как об этом рассказывает сам Вертлиб: «Среди извращенных нелепостей судьбы — то, что голодная блокада, инициированная нацистским руководством, скорее всего, спасла жизнь моим родителям. Если бы немецкие войска действительно заняли город осенью 1941 года, мои родители почти наверняка были бы убиты из-за еврейского происхождения. Таким образом, планам Гитлера по уничтожению моего родного города я, возможно, обязан своим существованием, ибо вероятность не умереть с голоду в Ленинграде была для еврея все же выше, чем не быть убитым на оккупированных нацистами территориях» (2012, s. 89).

Детство как кошмар, жизнь как постоянное чрезвычайное положение в изгнании и эмиграции: когда Вертлиб решил литературно изложить свои переживания детства и юности, со



времени его эмиграции прошло почти 15 лет. То, что он описывал в «Депортации» и особенно в «Промежуточных станциях», осталось в прошлом и было отфильтровано памятью о том, что он сам когда-то пережил. Однако своё решение о повествовании от первого лица Вертлиб обосновывает тем, что травмы, нанесенные безродному подростку в те годы, были сильны и все еще болели. Однако его «я» стало теперь вымышленным «я», а реальный опыт – воображаемым, так в очерке Вертлиб объясняет наивную смелость своих ранних дневников: «Я старался запечатлеть все, что никогда больше не хотел забывать. Но то, что я должен был забыть, в конце концов все же забыл, а то, что я записал, вскоре перестало быть хроникой. Действительность показалась мне бесплодной и сухой поверхностью того, что я считал подлинной истиной. Не слишком трудно было докопаться до этой истины. Мне просто нужно было её изобрести. При этом я редко поддавался желанию записать события так, как мне хотелось бы их пережить. Жульничать я не собирался. Но воображение было делом первой важности. Иногда я пытался представить, что бы произошло, если в определенных ситуациях я реагировал бы по-другому. Затем я добавил сновидения или небольшие дополнительные рассказы. К реальности мира всегда относилось и сослагательное наклонение» (2012, p. 23).

Рассказчик в «Промежуточных станциях» ясно показывает, что его история о расстояниях и вымышленной современности организована в ретроспективе: «Сколько усилий стоило мне сцены, стоявшие перед моими глазами, организовать в сюжет» (1999b, s. 46) или: «То невообразимое, что случилось со мной в детстве, сегодня кажется отчужденным как киноплёнка в замедленном темпе» (1999b, s. 44). Уровень отражения в романе явно равен уровню взрослого: лирический герой рассказывает свою историю с нейтральной отдаленностью наблюдателя, как будто не может позиционировать себя по отношению к ней. При этом он выполняет специфическую работу памяти, которую определяет следующим образом: «Помимо субъективной и коллективной памяти есть еще более интересная, хотя и редко цитируемая: а именно "субверсивная" память. Она хранит в себе всевозможные забавы, обслуживает ожидания, делает головокружительные курбеты, но самое главное, она всё никак не может определить себя – но в конечном итоге находит путь к так называемой истине» (Vertlib, 2001, s. 57).

II

«Моя писательская родина, — пишет Вертлиб в эссе «Неудачи, ложь, новые творения», — это предел, одновременность и сосуществование» (2012, s. 59). Но в этом утверждении, которое в первую очередь относится к писательской работе на иностранном языке, есть в то же время конкретное пространственное и временное измерение. В романе «Промежуточные станции» преодолению и размыванию границ в реальных и воображаемых местах и пространствах противостоит опыт их непрочности, в то время как мобильное время «подземного» существования контрастирует со временем ожидания в гостиничных номерах и съемных квартирах, в залах ожидания вокзалов, консульств и органов иностранных дел. Хронотопическая связь пространства и времени, которая заставляет места ожидания казаться пространствами промежуточного, ведущего к новым переходам, заряжена в одной главе романа особым смыслом. В этой главе описывается пребывание семьи в Амстердаме, где она тщетно ждет вида на жительство: «Амстердам был сплошным лабиринтом воды и камней. На прогулках мы всегда стремились только сократить время ожидания. Но время, казалось, остановилось. Сначала мы ждали разрешения на работу в Голландии, потом вида на жительство, новозеландской визы, шведской, французской, норвежской. Десять раз на вокзал и обратно, и вот приходит первый отказ. Следующий отказ приходит после двенадцатой прогулки, следующий еще после седьмой... «Твой отец ждет будущего», — говорит мать» (1999b, s. 77).

Скука и унылое чувство «потраченной жизни» (2012, s. 164), которое Вертлиб связывает, в частности, с годами эмиграции, характеризует время, которое семья проводит на «Станции Амстердам». Здесь время, кажется, стоит на месте и теряет значение: «Утро, день и вечер совпали. Казалось, что время утратило всякий смысл и, тем не менее, присутствовало в каждом разговоре, обременяло нас» (1999b, s. 95). В эти месяцы социальная среда ребенка ограничивается его собственными родителями, но таким образом, что обращение к традиционной семейной истории, которую ребенок слышит от своих родителей, также становится основой его идентичности. Рассказы родителей связывают сына с миром, из которого он вырвался пятилетним мальчиком. В это время прошлое становится заменой жизни, которой — по крайней мере, на данный момент — невозможно жить.

И все же на этот раз доминирует не только прошлое: скорее, эти сцены, прочитанные как бы против слов автора, содержат семья



будущего, из которого вырастает писательское мастерство. Чтобы прогнать скуку, ребенок устраивает игру с вымышленными персонажами, которых он сам сотворил: «Я часто вырезал лист бумаги и катал маленькие белые шарики из обрывков, которые я смачивал слюной, чтобы замесить и придать им форму. Затем я клал их на пропахшее пылью покрывало моей кровати. Бусинки раскладывались в несколько рядов, которые вместе образовывали прямоугольник. У каждого из них было имя. Конечно, самым красивым и самым большим шариком был я сам. Только учительница была еще больше. Для неё мне обычно требовались половина листа или даже целый лист бумаги. Когда она звала кого-то к доске, я катил шарик по прямой к краю кровати. После урока я ходил в парк с этими шарами – то есть на другой конец кровати, где они располагались кругом вокруг меня. Там я читал им отрывки из детских книг, которые бабушка из Ленинграда посылала мне в Вену. Конечно, к тому времени все шары выучили русский язык» (1999b, s. 96).

Эта сцена иллюстрирует положительную ценность скуки, которая, по мнению Иосифа Бродского, является «окном во времени» (Brodsky, 2000, s. 2012): когда время становится непомерным, и «эго» открывает себя пустоте, оно также открывает возможность скучать, освобождать себя от существующих моделей, интерпретаций и цитат. Эта сцена показывает, как в скуке ребенок находит пространство, в котором он может свободно отделяться от реальности и конструировать её в соответствии со своими желаниями. В процессе повествования подлинный опыт реформируется и изменяется, переосмысливается и переоценивается – и «эго» берет на себя ведущую роль, в которой оно в равной степени владеет своей историей.

III

Роман «Промежуточные станции» охватывает период с 1971 по 1993 годы в жизни автора и, таким образом, свидетельствует о решении заменить статус эмигранта на «постоянное чрезвычайное положение в жизни писателя-фрилансера» (2012, s. 121). Начало авторства изображается как двойной акт дистанцирования: с одной стороны, сообщается о переезде из Вены в Зальцбург, с другой стороны, автор указывает на перевод дневников с родного, русского, на иностранный язык, на котором, говорит Вертлиб, «ни одно слово полностью не утратило своей странности» (2012, s. 59). Понятие странности здесь довольно амбивалентно, но в любом случае также и позитивно, поскольку позволяет писателю дистанцироваться от своего

опыта. Лингвистическое и пространственное расстояние позволяет Вертлибу приближаться к травме с краев, как бы по дороге из Зальцбурга через немецкий язык.

Это особенно заметно в эпизоде из последней главы романа, в котором становится ясно, как болезненна эта история присутствия – история его собственной жизни и история его семьи – и насколько сильно она связана с определенными местами: «В переезде в Зальцбург определено есть что-то положительное. Этот город не имеет ничего общего с воспоминаниями о прошлом, о детстве, об эмиграции. В Вене улицы иногда становятся странными существами, которые меняются, как будто они монстры, пожирающие время, и вдруг я снова становлюсь ребенком во враждебной среде, окруженный людьми, чей язык и образ мыслей я не понимаю. Мимо меня проходят давно снесенные здания и лица из прошлого. Я ищу знакомых и сталкиваюсь с теми угнетающими чувствами, которые преследуют меня всякий раз, когда я меньше всего их ожидаю. Зальцбург, с другой стороны, является мирным и успокаивающим фоном из камня, гор и леса, лишенный истории, весь в настоящем» (1999b, s. 286).

Игра с отчуждением и масками составляет основу повествовательного стиля Вертлиба, она определяет структуру и мотивы его литературных текстов, которые умело играют со всеми возможными взглядами на рассказанную историю. В этом смысле дневники мальчика представляют собой живую лабораторию, в которой тестируется эта игра, потому что рассказчик, как было показано в раннем романе «Депортация», хранит три разных дневника вместо одного. Обращение к дневнику является типичным мотивом в авторской литературе писателей не-немецкого происхождения (Körte, 2013). Характерной особенностью обращения Вертлиба с этим мотивом является то, что обычно остается неясным, из какого дневника ведется рассказ. Таким образом, иллюзия подлинного постоянно разрушается, поскольку версии дневников отличаются друг от друга. Поэтому было бы правильнее говорить о нескольких рассказчиках вместо одного, ведь рассказчик предстает в разных масках, в разных ролях. Под защитой масок он пробует потенциальные идентичности, которые возникают из разных перспектив событий, переживаемых главным героем. В то же время маскировка – это ироничная игра с клише: то, что кажется само собой разумеющимся, вдруг оказывается вовсе не столь очевидно, тем самым разрушая чрезмерно наивную доверчивость прочтения. Примечательно, что роман заканчивается довольно иронично



изображенным «прибытием» главного героя в австрийскую провинцию, где он надевает себе на голову последнюю маску вроде тирольской шляпы.

У Вертлиба, однако, игра с масками не имеет ничего общего с игрой с идентичностями, культивируемыми постмодернизмом. Единство опыта переживания все-европейской человеческой катастрофы и, как следствие, кризиса идентичности в век тоталитарных режимов также обуславливает позицию Вертлиба в том, что «прошлое «я» никогда не отпустит настоящее» (Vertlib, 1998). Таким образом, игра с идентичностями и ролями является единственным возможным ответом на травму, которая не отменяет единства «эго» в игровом, постмодернистском смысле, но угрожает ему экзистенциально. Маски, в которых представляет себя рассказчик, являются его единственным способом коммуникации, его временно действительной, всегда нестабильной личностью. Это позволяет рассказчику дистанцироваться от тех травм, о которых нельзя говорить. В романе неоднократно упоминаются попытки забыть или подавить разговоры, выйти из сценария и избежать возможных травм.

Однако преодоление пережитого никогда не было для Вертлиба главной целью писательской деятельности: «Изобретение собственной жизни как литературы» – таково название одной из его поэтических лекций – означает в его случае не столько освобождение от болезненной истории, сколько обретение свободы в истории, построенной и поставленной литературно. Здесь можно вспомнить вышеупомянутую сцену из романа «Промежуточные станции», разыгрывающуюся в амстердамском гостиничном номере – в какой-то мере здесь содержится зародыш будущего писательского труда.

О самотерапевтической задаче литературы не может быть и речи еще и потому, что Вертлиб изначально оценивал свой опыт как сугубо индивидуальные, интимные переживания и поэтому долгое время считал их несущественными и несвязанными. Этот подход, с одной стороны, основывается на понимании роли литературы, которая не должна заключаться в «облечении личных чувств и стремлений в слова» (2012, s. 126). С другой стороны, он объясняется робостью, которую автор разделяет с лирическим героем и которую на поэтологическом уровне можно прочесть как сознательное дистанцирование от литературы трудовой эмиграции, которую Франко Бионди и Рафик Шами назвали «литературой проблем» (Biondi & Shami, 1981, s. 134ff): «Говорить правду мне было бы неприлично, как говорить о жалости и беде других людей» (1999b, s. 263).

IV

С решительностью Вертлиб отвергает всякое сравнение своих переживаний с опытом беглецов от нацистской диктатуры. Однако, читая в качестве критика мемуары беженцев и оставшихся в живых, он приобрел новый взгляд на собственный опыт – взгляд, в котором ощущается чувство связи с их опытом: «В конечном счете, то, что я испытал, является только одним из проявлений комплексного явления» (2012, s. 34). По словам Вертлиба, переживание преходящего не может быть ограничено судьбой еврейского народа: бездомность и изгнание стали центральным опытом и, следовательно, признаками эпохи. Только на этом фоне Вертлибу кажется возможным изложение собственного опыта и размышления о еврейских судьбах. Трагедия еврейского народа служит ему лишь символом для поднятия общих тем; еврейский народ становится шифром, образом всех людей того времени. В этом смысле роман «Промежуточные станции», в котором излагается история жизни отдельных людей и история целого столетия, поданная как пространство неизбежных переходов, характерно начинается с путешествия памяти, с попытки перешагнуть через порог времени: рассказчик возвращается в город, который он покинул с родителями в детстве, чтобы навестить свою старую умирающую бабушку.

Но надежда на передачу воспоминаний из поколения в поколение оказывается обманчивой, потому что общение с умирающими характеризуется пробелами и недоразумениями. Кроме того, рассказчик остается незнакомцем в городе, что подчеркивает невозможность возвращения. Характерна в этом смысле жалоба другого русско-еврейского мигранта, который после неудавшейся попытки поселиться в Израиле ждет разрешения властей Вены на возвращение в Советский Союз: «Все время в Петах-Тикве мне снилась моя комната, вид на внутренний двор и книжные полки слева от окна. С 1931 по 1971 год я мечтал выбраться оттуда. Забавно. «Квартира уже давно сдана в аренду», – сказал кто-то. Но мадам Фридман только пожала плечами. У нее был легкий инсульт в Израиле, с тех пор она едва могла двигать левой рукой и приволакивала левую ногу. «По крайней мере, я смогу стоять во дворе и смотреть через окно в нашу старую квартиру», – объяснила она» (1999b, s. 39).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вертлиб интерпретирует свою историю жизни как зеркало универсального опыта отчуждения и потери родины. На идее о том, что изгнание – как в биографическом, так и в литературном смысле – никогда не заканчивается, основана, впрочем, его оценка исторических романов Лиона Фейхтвангера. Как и у Фейхтвангера, еврей как вечный изгнанник у Вертлиба становится притчей о «западно-восточном человеке», скрытом в каждом из нас – точно так же, как это уже сделал Мартин Бубер в начале 20-го века.

Столетие определяло иудаизм как «полярный феномен» (Schmitz, Teufel, 2012): «Человек испытывает полноту своей внутренней реальности и возможностей как живое вещество, которое стремится к двум полюсам; он переживает свой внутренний путь как путешествие от крестного пути до крестного пути. Но ни в одном человеке эта базовая форма не была такой сильной, такой доминирующей, такой центральной, какой она была и есть в иудее. Нигде это не было реализовано так полно и окончательно, нигде это не оказало такого решающего влияния на природу и судьбу. Нигде нет ничего такого огромного, такого парадоксального, такого героического, такого прекрасного, как это чудо: стремление евреев к единству. Стремление евреев к истине – вот что делает иудаизм феноменом человечества, еврейский вопрос – человеческим вопросом». (2007, s. 229-230)

Со времен известной повести Адельберта Шамиссо его сказочный персонаж Петер Шлемиль, обреченный вечно искать свою тень, является символом еврейской изоляции. Вариантом этого образа в романе выступает отец, который считает, что долгожданное будущее более не утопично, но как это бывает в счастливом конце сказки, может обратиться в реальность. Жена корит его за то, что он ждет этого будущего как человек «бегущий за радугой или пытающийся поймать собственную тень» (Vertlib, 1999b, s. 77).

Тем не менее, не позднее, чем с момента основания в 1985 году премии им. Адельберта фон Шамиссо за литературные достижения не-немцоязычных авторов, Петер Шлемиль также стал символом поэтики эмигрантов. Лирический герой в какой-то момент прерывает свою случайную прогулку по миру – вместо этого он делает не-прибытие¹ поэтическим принципом своего повествования. Поэтический образ тени, который Вертлиб использует в качестве символа своего писательского труда, означает не только потерю – тень у Вертлиба, скорее, характеризуется постоянно меняющейся

¹ Прим. переводчика: в оригинале *Ankunftslosigkeit* – отсутствие прибытия, приезда

формой, легкой изменчивостью: с каждой новой перспективой, с каждым индивидуальным опытом, «тень превращается, меняет свою форму, никогда не теряя своей сущности» (1999а, s. 35).

Возможно, для Вертлиба писательский труд – это маска над изменяющейся тенью, за которой он прячется и с помощью которой защищается, но из-под которой он может вести своё повествование; маска, которую главный герой «Промежуточных станций» жаждал в детстве: «маска дьявола или животного», «голова крокодила» (1999b, s. 99).

Список литературы

- Biondi, F., Shami, R. (1981). *Literatur der Betroffenheit*. In Schaffernicht, C. (Ed.). *Zuhause in der Fremde*. Fischerhude, Germany: Verlag Atelier im Bauernhaus.
- Bodrožić, M. (2008). Die Sprachländer des Dazwischen. In U. Pörksen, B. Busch (Eds.). *Eingezogen in die Sprache, angekommen in die Literatur. Positionen des Schreibens in unserem Einwanderungsland* (s. 67-75). Göttingen, Germany: Wallstein.
- Breysach, B. (2010). Vladimir Vertlib als österreichisch-jüdischer Autor: interkulturelles Schreiben nach dem Holocaust-Diskurs der 1980er und 1990er Jahre. In M. Marszałek, A. Molisak (Eds.). *Nach dem Vergessen. Rekurse auf den Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1989*. Berlin, Germany: Kadmos.
- Brodsky, J. (2000). *Der sterbliche Dichter. Über Literatur, Liebschaften und Langeweile*. Frankfurt/M., Germany: Fischer.
- Buber, M. (2007). Das Judentum und die Menschheit. In B. Schäfer (Ed.). *Werkausgabe 3: Frühe Jüdische Schriften 1900-1922* (1911, 227-237). Gütersloh, Germany: Gütersloher Verlagshaus.
- Durzack, M; Kuruyazıcı, N. & Şenöz Ayata, C. (Eds.). (2004). *Die andere deutsche Literatur. Istanbul Vorträge*. Würzburg, Germany: Königshausen & Neumann.
- Epstein, M. (2004). Transculture: A Broad Way between Globalism and Multiculturalism. *The American Journal of Economics and Sociology*, 68(1), 327-352.
- Geiser, M. (2015). *Der Ort transkultureller Literatur in Deutschland und in Frankreich. Deutsch-türkische und franko-maghrebinische Literatur der Postmigration*. Würzburg, Germany: Königshausen & Neumann.
- Hoffmann, M. (2006). *Interkulturelle Literaturwissenschaft*. Paderborn, Germany: Fink.



- Körte, M. (2013). Übergangsobjekte: Tagebücher zwischen den Sprachen. In: D. Bischoff & J. Schlör (Eds.). *Dinge des Exils. Exilforschung. Ein internationales Jahrbuch*, 31 (327-342). Munich, Germany: Ed. Text+Kritik.
- Kucher, P.H. (2008). Vladimir Vertlib – Schreiben im „kulturellen Zwischenbereich“. In: M. Bürger-Koftis (Ed.). *Eine Sprache – viele Horizonte. Die Osterweiterung der deutschsprachigen Literatur. Porträts einer neuen europäischen Generation* (s. 177-190). Vienna, Austria: Praesens.
- Lamping, D. (2010). *Die Idee der Weltliteratur. Ein Konzept Goethes und seine Karriere*. Stuttgart, Germany: Kröner.
- Lamping, D. (2019). *Weltliteratur. Über die Aktualität einer Idee*. Oldenburg, Germany: BIS.
- Malik, W. (2003). Interview mit Vladimir Vertlib. *Ausblicke*, 8(2), 21-23.
- Schmitz, W., Teufel, A. (2012). Wahrheit und „subversives Gedächtnis“. Die Geschichte(n) von Vladimir Vertlib. In V. Vertlib (2012). *Spiegel im fremden Wort. Die Erfindung des Lebens als Literatur: Dresdner Chamisso-Poetikvorlesungen 2006* (s. 201-253). Dresden, Germany: Thelem.
- Şenocak, Z. (2001). *Zungenentfernung. Bericht aus der Quarantänestation*. Munich, Germany: Babel.
- Vertlib, V. (1998). Kertösz: Ich - ein anderer. Die Leichtigkeit der Last. *Wiener Zeitung*, Retrieved from https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/literatur/381811_Kertoesz-Ich-ein-anderer.html
- Vertlib, V. (1999a). Schattenbild. *Literatur und Kritik*, 34(331/332), 32-36.
- Vertlib, V. (1999b). *Zwischenstationen. Roman*. Vienna, Austria: Deuticke.
- Vertlib, V. (2001). Statistik ist die eleganteste Lüge. Was der österreichische Schriftsteller Vladimir Vertlib über verschiedene Formen der Wahrheitsfindung und über Fernweh denkt. *Buchreport. Magazin*, 32(8), 57.
- Vertlib, V. (2003). *Letzter Wunsch. Roman*. Vienna, Austria: Deuticke.
- Vertlib, V. (2005). Gute Reise! [Essay]. *Die Presse*, Spectrum.
- Vertlib, V. (2012). *Spiegel im fremden Wort. Die Erfindung des Lebens als Literatur: Dresdner Chamisso-Poetikvorlesungen 2006*. Dresden, Germany: Thelem.

References

- Biondi, F., Shami, R. (1981). Literature of concern. In C. Schaffernicht (Ed.). *At home in a foreign country*. Fischer, Germany: Verlag Atelier im Bauernhaus. (In German)

- Bodrožić, M. (2008). The language countries of the in-between. In U. Pörksen & B. Busch (Eds.). *Moved into language, arrived into literature. Positions of writing in our country of immigration* (p. 67-75). New York: W. W. Norton & Company. (In German)
- Breysach, B. (2010). Vladimir Vertlib as Austrian-Jewish author: intercultural writing after the Holocaust discourse of the 1980s and 1990s. In M. Marszałek & A. Molisak (Eds.). *After forgetting. Recourses on the Holocaust in East-Central Europe after 1989*. Berlin, Germany: Kadmos. (In German)
- Brodsky, J. (2000). *The mortal Poet. About literature, love and boredom*. New York: Oxford University Press. (In German)
- Buber, M. (2007). Judaism and humanity. In B. Schäfer (Ed.). *Edition 3: Early Jewish Writings 1900-1922* (1911, 227-237). Gütersloh, Germany: Gütersloher Publishing House. (In German)
- Durzack, M., Kuruyazıcı, N. & Şenöz Ayata, C. (Eds.). (2004). *The other German literature. Istanbul Lectures*. New York: Oxford University Press. (In German)
- Epstein, M. (2004). Transculture: A Broad Way between Globalism and Multiculturalism. *The American Journal of Economics and Sociology*, 68(1), 327-352.
- Geiser, M. (2015): *The place of transcultural literature in Germany and France. German-Turkish and Franco-Maghreb literature of Postmigration*. New York: Oxford University Press. (In German)
- Hoffmann, M. (2006). *Intercultural Literary Studies*. New York: Harper Collins. (In German)
- Körte, M. (2013). Transitional objects: diaries between languages. In: D. Bischoff & J. Schlör (Eds.). *Things of exile. Exile research. An international Yearbook*, 31 (327-342). Munich, Germany: Ed. Text+Kritik. (In German)
- Kucher, P. H. (2008). The writings of Vladimir Vertlib in the "cultural intermediate area". In: M. Bürger-Koftis, (Ed.). *One language - many horizons. The eastward expansion of German literature. Portraits of a new European Generation* (177-190). Vienna, Austria: Praesens. (In German)
- Lamping, D. (2010). *The idea of world literature. The concept of Goethe and its development*. New York: Harper Collins. (In German)
- Lamping, D. (2019). *World literature. About the actuality of an idea*. Oldenburg, Germany: BIS. (In German)
- Malik, W. (2003). Interview with Vladimir Vertlib. *Ausblicke*, 8(2), 21-23. (In German)



- Schmitz, W., Teufel, A. (2012). Truth and "subversive memory". The story of Vladimir Vertlib. In V. Vertlib, *Mirror in the foreign word. The invention of life as literature: Dresden Chamisso poetry lectures 2006* (201-253). New York, NY: Thelem. (In German)
- Şenocak, Z. (2001). *Tongue removal. Report from the quarantine station*. New York: Oxford University Press. (In German)
- Vertlib, V. (1998). Kertösz: I am another. The lightness of the load. *Wiener Zeitung*, Retrieved from https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/literatur/381811_Kertoesz-Ich-ein-anderer.html (In German)
- Vertlib, V. (1999a). Shadow image. *Literature and criticism*, 34(331/332), 32-36. (In German)
- Vertlib, V. (1999b). *Stopover. Novel*. Vienna, Austria: Deuticke. (In German)
- Vertlib, V. (2001). Statistics is the most elegant lie. What the Austrian writer Vladimir Vertlib thinks about different forms of truth-finding and wanderlust. Book report. *Magazine*, 32 (8), 57. (In German)
- Vertlib, V. (2003). *Last Wish. Novel*. Vienna, Austria: Deuticke. (In German)
- Vertlib, V. (2005): Farewell! [Essay]. *The Press, Spectrum*. (In German)
- Vertlib, V. (2012). *Mirror in the foreign word. The invention of life as literature: Dresden Chamisso poetry lectures 2006*. Dresden, Germany: Thelem. (In German)

A SWABIAN PLOW IN THE UKRAINIAN SKY: LITERARY REPRESENTATIONS OF THE GERMAN- UKRAINIAN BORDERLAND IN THE MEMORY DISCOURSE ON THE VOLHYNIAN GERMANS (BASED ON THE WORKS BY HANS-ULRICH TREICHEL)

Ievgeniia Voloshchuk (a)

(a) Europa-Universität Viadrina. Postgebäude Raum 269, Logenstraße 9-10, D-15230 Frankfurt (Oder)
 E-mail: voloshchuk[at]europa-uni.de

Abstract

Basing on the image of Volhynia in the works of a contemporary German writer Hans Ulrich Treichel, the paper analyzes the construct of the German-Ukrainian borderland, which emerged within the framework of the diaspora model. The paper focuses on how the Ukrainian-German borderland, along with its characteristic connotations of ethno-cultural and mental borders, is conceptually and aesthetically interpreted in Treichel's texts. The specificity of the image of Volhynia in Treichel's texts is to no small degree determined by its being mediated by the memories of the writer's father, a Volhynian German who, during the World War II, first moved to Poland, a country which by that time had been occupied by the Germans, and thereupon, together with his young wife, a native of one of the German colonies located on Polish territory, fled from the advancing Soviet army to West Germany. The impact of their traumatic war and getaway experience on the reconstructed image of their lost homeland is an important aspect of the research carried out in the paper. At the same time, the study also touches upon the mental maps of Eastern Europe, which left their mark on both the topography depicted in the texts, and the construction of individual and collective identities.

Keywords

Diaspora; borderland; memory discourse; migration; Volhynian Germans; mental maps; topography; borders; Eastern Europe; Hans-Ulrich Treichel



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ШВАБСКИЙ ПЛУГ В УКРАИНСКОМ НЕБЕ: ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НЕМЕЦКО- УКРАИНСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ В ДИСКУРСЕ ПАМЯТИ О ВОЛЫНСКИХ НЕМЦАХ (НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА Г.-У. ТРАЙХЕЛЯ)

Волощук Евгения (а)

(а) Европейский университет Виадрина, Франкфурте-на-Одере. Postgebäude Raum 269, Logenstraße 9-10, D-15230 Frankfurt (Oder). E-mail: voloshchuk[at]europa-uni.de

Аннотация

В статье на примере образа Волыни в творчестве современного немецкого писателя и литературоведа Г.-У. Трайхеля анализируется конструкт немецко-украинского пограничья, сформировавшийся в рамках диаспорной модели. В центре исследования находится вопрос о том, как в трайхелевских текстах концептуально и эстетически осмысливается украино-немецкое пограничье вместе с характерными для него коннотациями этнокультурных и ментальных границы. Специфика этого образа в трайхелевских текстах не в последнюю очередь определяется его опосредованностью воспоминаниями отца писателя – волынского немца, который во время Второй мировой войны сначала перебрался в оккупированную немцами Польшу, а затем вместе с молодой женой – уроженкой одной из находившихся на польской территории немецких колоний – бежал от наступавшей советской армии в Западную Германию. Влияние их травматичного опыта войны и бегства на реконструируемый образ утраченной родины являются важным аспектом осуществляемого в статье исследования. Вместе с тем, в поле рассмотрения включаются также ментальные карты Восточной Европы, накладывающие свой отпечаток как на изображаемую топографию, так и на конструирование индивидуальной и коллективной идентичности.

Ключевые слова

Диаспора; пограничье; дискурс памяти; миграция; волынские немцы; ментальные карты; топография; граница; Восточная Европа; Г.-У. Трайхель



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ВВЕДЕНИЕ

Немецкие поселения на украинской Волыни являли собой яркий пример культурного пограничья, возникшего на основе диаспорной модели. Несмотря на то, что этот немецкий анклав не породил такой мощной литературной традиции, как две другие ныне украинские, а в прошлом немецкоязычные провинции, Галиция и Буковина (отличавшиеся от него как по этническому составу, так и географическому положению), он, тем не менее, утвердился в немецкоязычном культурном пространстве в качестве значимого топоса дискурса памяти и пересеченной немецко-украинской истории (Kremring, 2009; Exner, 2019). Одним из примеров тому может служить творчество современного немецкого писателя и литературоведа-германиста Ганса-Ульриха Трайхеля (род.1952), чья семейная история связана с немецкой Волынью.

На его примере в данной статье исследуются литературные репрезентации Волыни как немецко-украинского пограничья и немецкого «места памяти» (Nora, 1990, s. 30) в Украине. В центре анализа находится вопрос о том, как в трайхелевских текстах концептуально и эстетически осмысливается украино-немецкое пограничье вместе с характерными для него коннотациями этнокультурных и ментальных границ. При этом в поле рассмотрения включаются также ментальные карты Восточной Европы, накладывающие свой отпечаток как на изображаемую топографию, так и на конструирование индивидуальной и коллективной идентичности¹.

РЕ-КОНСТРУКЦИЯ НЕМЕЦКОЙ ВОЛЫНИ В ОПЫТЕ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ МИГРАНТОВ

I

На определяющую роль, которую играли ментальные карты Восточной Европы в немецких представлениях об Украине, прямо указывает в своей книге «Решение в Киеве. Украинские уроки» немецкий историк Карл Шлегель (Schlögel, 2015). Среди прочего он

¹ Ограничусь ссылкой на Фритьефа Беньямина Шенка, который в своей аналитической статье «Ментальные карты: когнитивное картирование континента как исследовательский объект европейской истории» четко формулирует главный вопрос культурологических и исторических исследований ментальных карт: «В центре здесь стоит вопрос о том, как на личные представления о пространстве влияют опосредованные культурой картины (мира) и как коллективно разделяемые репрезентации некоего – познаваемого или воображаемого – пространственного окружающего мира обратно воздействуют на процессы образования культурной общности и идентичности» (Schenk, 2013)



констатирует, что вплоть до нового перелома украинской истории, обозначенного Майданом 2013/14 гг., немецкое сознание воспринимало Украину по доставшемуся от советского прошлого картографическому шаблону как окраину России. Согласно Шлегелю, впрочем, речь идет о более длительной и сложной традиции ментального картирования, обусловленной самой историей Украины как пограничной страны, которая в течение столетий на политической карте обозначалась как территория других государств, в том числе – и как окраина больших империй (s. 53).

Однако, помимо исторических факторов, указанная традиция картирования Украины как «отсутствующей» страны укоренена в самой ментальной карте Восточной Европы. Данная карта генерализирующим образом объединяет в гомогенную картину конгломерат стран – на основании общей характеристики, которую западноевропейское сознание приписывает Восточной Европе, тем самым отграничивая себя от нее как от образа Другого. Поэтому ключевые понятия, вроде концептов «отсталости», «варварства», «полудикости-полкультуры» (Wolff, 2003, s.23) и т. п., слабая или вообще отсутствующая дифференциация географических, исторических и культурных границ внутри этого конгломерата, наконец, общая установка на инструментализацию образа Восточной Европы для конституирования западноевропейской идентичности, распространяется на все охватываемые данной картой страны, в том числе – и на Украину. Как и другие страны на этой ментальной карте, Украина отождествляется с образом полужнакомого-полунезнакомого, полублизкого-получужого Другого (Wolff, 1996, 2003) репрезентирующего всю Восточную Европу. Собственная украинская топография на такой карте остается белым пятном.

Вместе с тем, немецкая культурная рефлексия располагает особым опытом осмысления украинского пространства. Речь идет о топосе Украины как утраченной родины, – топосе, который в немецкоязычной литературе располагает богатой традицией картирования украинского пространства с «промежуточной», «миграционной» позиции, отклоняющейся от установленной ментальной картой границы между «своим» и «чужим»/ «другим». При этом сама задача (ре)конструирования образа утраченной родины предполагает активное использование картографического инструментария. Вспоминать утраченную родину – значит, ретроспективно ее перекартировать, и прежде всего – с помощью ментальных карт, локальных (карт «малой родины») или коллективных (карт больших регионов).

II

Для известного современного немецкого писателя и литературоведа-германиста Г.-У. Трайхеля Вольт и ее перекартирование в дискурсе памяти имеет особое личное значение: вольтинским немцем был его отец. Согласно версии, изложенной в трайхелевском автобиографическом романе «Анатолин» (Treichel, 2008), во время Второй мировой войны отец перебрался в оккупированную немцами Польшу. Оттуда он, спасаясь от преследований со стороны наступавшей советской армии, бежал в Германию вместе с молодой женой – уроженкой одной из находившихся на польской территории немецких колоний. Их травматичный опыт войны и бегства, влияние этого опыта на дальнейшую семейную историю, в том числе – и на генерацию детей, являются главными объектами осмысления в литературном творчестве Трайхеля.

Так, эта тема является центральной в уже упомянутом романе «Анатолин», где изображается автобиографическое путешествие по Польше и Западной Украине к родным местам родителей протагониста.¹ Характер этого путешествия определяется «белыми пятнами» семейных воспоминаний. Так как родители избегали рассказов о своем прошлом, в распоряжении героя оказались лишь обрывки сведений об их родине. Поэтому свое путешествие он мыслит как попытку наполнить конкретными картинками пробелы собственной семейной истории. В этом контексте путешествие на Вольт, где находится родная деревня отца Брыще, осмысляется им как путь к отцу и к самому себе. Примечательно, что, посещая по дороге западноукраинские города Львов и Броды, герой удовлетворяется беглым туристическим знакомством с ними и остается в целом индифферентным к их славе знаменитых мест памяти немецкой культуры. Главным центром притяжения на его карте Украины остается вольтинское Брыще.

Топос утраченной родины отца находит отражение и в других произведениях писателя. Он представляет собой показательный образец современного (пере)картирования украинского пространства из перспективы (культурной) истории немецкой миграции.

¹ В одном из своих интервью, которое писатель дал как раз в разгар работы над «Анатолином», он прокомментировал цель запланированного путешествия по Западной Украине и его маршрут (Treichel, September, 2007)



III

Фантом утраченной родины отца находится в центре внимания трайхелевского стихотворения «Прилет в Киев» („Anflug Kiew“), включенного, к слову, вместе с текстами других авторов в посвященный Киеву литературный сборник серии «Europa erleben» (Treichel, 2013). Трайхелевское стихотворение, однако, крайне условно встраивается в этот ряд текстов, поскольку Киев в нем – всего лишь топоним, который дает толчок для развертывания образа Украины как утраченной родины немецкой диаспоры.

Ниже привожу текст стихотворения и его перевод:

Anflug Kiew

*Unter mir der Fluß
mit dem rollenden Namen,
er rollte durch meine Kindheit,
entsprang im Mund des Vaters,
der das Schilf schnitt am Ufer,
der den Stör fing, den Lachs,
der den weißen ukrainischen
Himmel
mit schwäbischer Gründlichkeit
pflügte,
Schneisen schlug durch die
Wildnis,
nach zwei Kriegen noch immer
herumtrug im Mund und unter der
Zunge die Geräusche des Flusses,
der noch immer den Pflug zog
durch Nebel und Sumpf
(Treichel, 2013, s.197).*

Прилет в Киев

Подо мной – река
с катящимся названием,
она катилась сквозь мое
детство,
брала свое начало в устах отца,
который срезал камыш на
берегу,
который ловил осетра, лосося,
который вспахивал белое
украинское небо
с швабской основательностью,
прорубал просеки в зарослях,
после двух войн все еще
носил во рту и под
языком гул реки, -
который все еще тащил плуг
свось туман и болото¹.

¹ Перевод стихотворения мой – Е.В. Здесь и далее в статье делаются ссылки на вышеуказанные оригинал и перевод стихотворения.

Образ Украины находится в стихотворении на пересечении дальней и ближней перспектив. На первую указывают упомянутой в названии стихотворения приближение самолета к Киеву и позиция лирического героя, рассматривающего украинское пространство сверху, через самолетное окно. Но, несмотря на значительную обзорную дистанцию, позволяющую охватить весь видимый ландшафт, взгляд путешественника избирательно выхватывает только один топографический элемент – реку, чье «катящееся название» („der rollende Name“), с детства было известно ему по рассказам отца:

*Подо мной – река
 с катящимся названием,
 она катилась сквозь мое детство,
 брала начало на устах отца,*

Украина, таким образом, изображается здесь как почти незнакомая страна, снабженная «следами» семейной истории, которые ее маркируют топосами воспоминаний и миграционного опыта из «своей» семейной истории. Все, что находится вне таких топосов, остается за рамками изображения – как «чужое» и «незнакомое» пространство. По сути, перед нами своеобразная контурная карта Украины, визуализирующая – за исключением оговоренных топосов – шлегелевский тезис об «отсутствии Украины на горизонте современников».

Другой образ Украины видится из «ближней» перспективы, репрезентируемой в стихотворении фигурой отца лирического героя. В отцовских рассказах Украина предстает до мелочей знакомой и «близкой» землей; она очерчивается как наполненный образами пейзаж, в котором есть и небо, и лесная чаща, и поросший камышом берег, и болота. И та же река, опять же не названная, изображается на этой картине как вполне «видимый» топографический образ реки, сказочно богатой рыбой. Следует подчеркнуть, что эта картина выстраивается в стихотворении как продукт многократных опосредований: лирический герой рисует здесь тот образ Украины, который осел в его сознании из рассказов отца, которые, в свою очередь, рефлексировали этот образ из ретроспективы воспоминаний и опыта миграции. Таким образом, автор ставит четкий акцент на нарративной природе отцовской картины Украины. Ключевую роль здесь играет образ реки, который конструируется одновременно и как топографический элемент, и как поток отцовских воспоминаний об



украинском прошлом, и как связующее звено между отцовскими рассказами об Украине и зрительными картинами Украины.

Несмотря на то, что текст не содержит развернутой биографии отца, его украинское прошлое, а вместе с ним – и украинское пространство получают здесь достаточно четкую характеристику. Формально украинское прошлое описывается как патриархальная крестьянская жизнь с ее привычными занятиями (рубкой леса, трудом земледельца или ловлей рыбы) и, очевидно, нарушаемая войнами. В соответствии с этим украинское пространство картируется как патриархальный, удаленный от западной цивилизации край первозданной природы, куда еще не добралась модернизация, и где человек добывает хлеб насущный простыми, архаичными способами, как это делали его предки на заре истории. Вместе с тем, беглое упоминание о двух войнах, (очевидно, мировых) привносят в почти идиллическую и почти аисторическую картину не только зарево великих потрясений, но и намеки на угрозы, потенциальный катастрофизм, таящиеся в украинском пространстве. В такой картине проступает модель, лежащей в основе западноевропейской ментальной карты Восточной Европы (Thum, 2006; Sauerland, 2006).

Связь трайхелевского образа Украины с этой моделью дополнительно усиливается через мотив плуга/пахоты, который в качестве доминанты отцовского украинского опыта утверждает идею необычайно тяжелого труда и преодоления жизненных трудностей. Образ отца, вспахивающего украинское небо, является, очевидно, поэтическим парафразом навязчивой отцовской мысли о том, что жить или трудиться в Украине – все равно, что пахать небо. Данный аспект трайхелевского образа Украины апеллирует к ментальным концептам «отсталости» Восточной Европы и ее западноевропейского «цивилизирования». Эта отсылка обозначена в тексте имагологически нагруженным контрастом между вспахиваемым «белым украинским небом» („der weiße ukrainische Himmel“) и «швабской основательностью» („schwäbische Gründlichkeit“), с которой пашет отец.¹ Манифестируемая как национальное качество «основательность» (или «старательность») несет на себе отпечаток цивилизационного продвижения немецкого духа по еще не освоенному – белому (бесплодному, пустому, «целинному») украинскому пространству. Еще более четко данная семантика

¹ Значение имагологических стереотипов в их взаимосвязи с миграционным опытом семьи в творчестве Трайхеля обстоятельно исследуется на примере образа поляка в статье Юргена Йоахимсталера (Joachimsthaler, 2001).

проступает в образе отца, который прорубает просеки в украинских зарослях „der [...] Schneisen schlug durch die Wildnis“) и тем самым осуществляет – помимо прагматичной крестьянской работы – еще и цивилизаторскую функцию. Эта функция в сочетании с латентным противопоставлением швабской «основательности» и украинской «ленности» или «небрежности» выступают главными имагологическими маркерами «немецкости» отца, отличающими его от автохтонного населения и отграничивающими его от украинского пространства как от не «своей» территории. Кроме того, имагологический (авто)портрет отца дополняется еще одной немаловажной деталью: в причудливых комбинациях мотива плуга/пахоты с нетипичными элементами ландшафта (небом, туманом, болотом) отсутствует, собственно, земля, которую должен бы вспахивать плуг. За этим парадоксальным исключением стоит диаспорное ощущение отсутствия твердой почвы под ногами, неуверенность в земле, на которой живешь, но которую не чувствуешь надежной, т.е. совершенно «своей». Неслучайно стихотворение заканчивается образом затянутого туманом болота, который является метафорой зыбкости, неуловимости и ненадежности родины – как, впрочем, и самого образа утраченной родины в воспоминаниях.

ВЫВОДЫ

Вследствие наложения «ближней» и «дальней» перспектив картирования вырисовывается многослойный и контрастный образ Украины, который отражает разные степени ее восприятия как «полусвоего»-«получужого» пространства. Эксплицитно такая рецепция обосновывается в стихотворении непосредственным (точка зрения отца) и опосредованным (точка зрения сына) миграционным опытом. Этот опыт, с одной стороны, редуцирует украинское пространство на уцелевший в воспоминаниях рудимент бывшей полуродины-получужбины, отсекая от изображения остальную, иррелевантную для воспоминаний часть украинского пространства как «невидимую», «незнакомую». С другой же стороны, миграционный опыт отца – как человека, который как до, так и после миграции ощущает себя укорененным и в украинском, и в немецком пространствах, – моделирует Украину как пункт переплетения украинской и немецкой историй. При чем связь между ними усиливается за счет общих исторических травм – двух мировых войн, которые эти пространства в миграционном дискурсе воспоминаний соединяют (как «общую» сцену военного опыта) и одновременно разъединяют (как события, разрушившие привычные параметры



диаспорной жизни и, в конечном итоге, обусловившие миграционный разрыв с диаспорной историей семьи). Наследником и частью этой переплетенной истории ощущает себя сын – немец, родившийся в послевоенной Германии, однако испытывающий притяжение бывшей «родины» отца, далекой, почти незнакомой и все же не совсем «чужой». В данном контексте трайхелевский образ Украины реактуализирует карту фантомных границ¹ бывших немецких поселений на сегодняшней украинской территории и через эту карту вписывает семейную историю лирического героя в контекст немецко-украинской истории.

Вместе с тем, имплицитно образ Украины выстраивается в стихотворении на базе западноевропейской ментальной карты Восточной Европы. Примечательно, что в используемых отцом и сыном стратегиях картирования находят отражение разные модусы культурной рецепции Украины/Восточной Европы как «полусвоей»-«получужой» территории. В воспоминаниях отца, имагологически детерминированных сначала его «диаспорной», а затем и «миграционной» точкой зрения, определяющую роль играет концепция «недоцивилизованного» пространства, значимая для конструирования собственной «западной» идентичности. Эта концепция узнаваема в образе патриархальной крестьянской Украины, – края, где отец не просто тяжело трудился и боролся с первозданной природой, но и исполнял некую цивилизирующую функцию, тем самым утверждая себя как шваб, немец, как пришедший с Запада «чужак». Что же касается украинских впечатлений сына, то они мобилизуют художественные средства, которые подчеркивают в образе Украины его «невидимость», географическую стертость. Этот эффект создается в начале стихотворения вместе с «контурной картой», которую «видит» из самолетного окна лирический герой, и закрепляется в конце текста образами туманов и болот.

Во взаимодействии этих двух вариантов образов Украины проявляется двуполюсность категории «пустоты», задействованной в конструкте Восточной Европы. Данная категория присутствует в метафоре «пустого холста», которую Ларри Вульф заимствует из путевых заметок французского историка Луи-Филиппа Сегюра и превращает в парадигматический пример для описания продуцированных западноевропейским сознанием собственных

¹ Согласно теории, которую общими усилиями разработали Ханнес Грандис, Беатрис фон Хиршхаузен, Клуадия Крафт, Дитмар Мюллер и Томас Серриер, фантомные границы – это «прежние, преимущественно политические или территориальные обозначения границ, которые, после того, как они были ликвидированы, продолжают дальше структурировать пространство» (Hirschhausen et al., 2015, s. 18).

«фантазий» о Восточной Европе. «Пустой холст» – это место, на котором Западная Европа рисует осваиваемый и покоряемый ею европейский Восток (Wolff, 2003, s.28). Вариацией этой метафоры в трайхелевском стихотворении выступает «украинское белое небо», вспахиваемое отцовским плугом. Однако, показывая в статье «Изобретение Европы: от Вольтера до Волян-де-Морта», как изобретенный несколько столетий тому назад конструкт продолжает функционировать в сегодняшних коллективных представлениях европейского Запада о европейском Востоке, Ларри Вульф через цитируемое им высказывание современной хорватской писательницы Дубравки Угрешич связывает категорию «пустоты» с тем «отсутствием» репрезентируемого пространства на ментальной карте, которое лучше всего схватывается топографической метафорой «белого пятна»:

«Дубравка Угрешич, – пишет Вульф, – заметила, что картографическое определение Восточной Европы, как и прежде, представляет собой проблему: "Для многих людей на Западе умозрительно Восточная Европа – пустое пространство. Она начинается где-то за Железным занавесом, где-то по ту сторону Стены, даже теперь, где ни занавес, ни стена больше не существуют"» (Wolff, 2003, s. 32).

Контурная карта Украины, которую очерчивает трайхелевский лирический герой на подлете к Киеву, и которая не содержит в себе ничего, кроме безымянной реки, является наглядной иллюстрацией к описанному Угрешич концепту «пустого пространства» современной ментальной карты Восточной Европы. Указанные картографические перспективы сходятся в навеиваемом трайхелевским стихотворением концепте украинского пространства как «целины», которые ассоциируется одновременно и с «не освоенной» цивилизацией природой, и с «белым пятном» на карте.

В конечном счете, именно в поле напряжения между воспоминанием и изобретением и возникает образ «полузнакомой-получужой» Украины, характерный для современного немецкого литературного дискурса об этой стране.

Список литературы

- Exner, H. (2019). *Die Frauen von Janowka: Eine wolhynische Familiengeschichte*. EPV-Verlagsgesellschaft.
- Hirschhausen, v. B., Grandits, H., Kraft, C., Müller, D. & Serrier, Th. (2015). Phantomgrenzen im östlichen Europa. Eine wissenschaftliche



- Positionierung. In B. von Hirschhausen, H. Grandits, C. Kraft, D. Müller & Th. Serrier (Hg.). *Phantomgrenzen. Räume und Akteure in der Zeit neu denken* (S. 13-56). Göttingen: Wallstein.
- Joachimsthaler, J. (2000). „Der Pole“ sieht Polen. Hans-Ulrich Treichel in Lublin. *Germano-Slavica, Annual*, 12(1), 51-65.
- Kremring, L. (2003). *Verlorene Heimat Wolhynien: Erinnerungen und Erlebnisse eines Ostwolhyniers* (2. Aufl.). Shytomir: Verlag Wolhynien.
- Nora, P. (1990). *Zwischen Geschichte und Gedächtnis*. Berlin: Wagenbach.
- Sauerland, K. (2006). Vom Osten kommt das Glück, vom Osten kommt die Gewalt. In U. Wergin & K. Sauerland unter M. v. D. Eschkötter (Hg.). *Bilder des Ostens in der deutschen Literatur* (S. 9-27). Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Schenk, F. B. (2013, 05.06). Mental Maps: Die kognitive Kartierung des Kontinents als Forschungsgegenstand der europäischen Geschichte. *Europäische Geschichte Online*. Retrieved from <http://ieg-ego.eu/de/threads/theorien-und-methoden/mental-maps/frithjof-benjamin-schenk-mental-maps-die-kognitive-kartierung-des-kontinents-als-forschungsgegenstand-der-europaeischen-geschichte>.
- Schlögel, K. (2015). *Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen*. München: Carl Hanser.
- Thum, G. (2006). Ex oriente lux – ex oriente furor. Einleitung. In G. Thum, (Hg.). *Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen Europa im 20. Jahrhundert* (S. 7 –15). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Treichel, H.-U. (September, 2007). Man möchte Varianten des eigenen Lebens erzählt bekommen. Hans-Ulrich Treichel im Gespräch mit André Hille. *Kulturmagazin Kulturstoff Heft*, 7. Retrieved from <http://www.poetenladen.de/andre-hille-hans-ulrich-treichel.htm>
- Treichel, H.-U. (2008). *Anatolin*. Berlin, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Treichel, H.-U. (2013) Anflug Kiew. In O., Nowikowa & U., Schweier (Hg.) *Europa erlesen: Kiew/Kyiv* (S.197). Klagenfurt / Celovec: Wieser.
- Wolff, L. (1996). *Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment*. Stanford: Stanford University Press.
- Wolff, L. (2003). Die Erfindung Osteuropas: Von Voltaire zu Voldemort. In D. Granshammer-Hohl, K. Kaser & R. Pichler (Hg.). *Europa und die Grenzen im Kopf* (S. 21-34). Klagenfurt, Wieser.

References

- Exner, H. (2019). *Women of Yanovka. Volhynia Family Story*. EPV-Verlagsgesellschaft. (In German).
- Hirschhausen, v. B., Grandits, H., Kraft, C., Müller, D. & Serrier, Th. (2015). Phantom Borders in Eastern Europe. Scientific Positioning. In B. von Hirschhausen, H. Grandits, C. Kraft, D. Müller & Th. Serrier (Eds.). *Phantom Borders. Nowadays Rethinking Spaces and Actors in Time* (pp.13-56). Goettingen: Wallstein. (In German).
- Joachimsthaler, J. (2000). "The Pole" looks at Poland. Hans-Ulrich Treichel in Lublin. *Germano-Slavica, Annual*, 12(1), 51-65. (In German).
- Kremring, L. (2003). *The Lost Homeland of Volhynia: Memories and Experiences of one Eastern Volhynian* (2nd ed.). Zhitomir: Verlag Wolhynien. (In German).
- Nora, P. (1990). *Between History and Memory*. Berlin: Wagenbach. (In German).
- Sauerland, K. (2006). From the East Comes Happiness, From the East Comes Force. In W. Vergin & K. Sauerland, D. Eschetter (Eds.). *Images of the East in German Literature* (pp. 9-27). Würzburg: Königshausen & Neumann. (In German).
- Schenk, F. B. (2013, 05.06). Mental Maps: The Cognitive Mapping of the Continent as an Object of Research of European History. *European History Online*. Retrieved from: <http://iegego.eu/de/threads/theorien-und-methoden/mental-maps/frithjof-benjamin-schenk-mental-maps-die-kognitive-kartierung-des-kontinents-als-forschungsgegenstand-der-europaeischen-geschichte> (In German).
- Schlögel, K. (2015). *The Decision in Kiev. Ukrainian Lessons*. Munich: Carl Hanser. (In German).
- Thum, G. (2006). Ex oriente lux – ex oriente furor. Introduction. In G., Thum, (Ed.). *Dreamland East. German Images of Eastern Europe in the XX century* (pp. 7-15). Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht (In German).
- Treichel, H.-U. (September, 2007). You want to be told variants of your own life. Hans-Ulrich Treichel in conversation with André Hille. *Kulturmagazin Kulturstoff Heft*, 7. Retrieved from <http://www.poetenladen.de/andre-hille-hans-ulrich-treichel.htm> (In German).
- Treichel, H.-U. (2008). *Anatolin*. Berlin, Frankfurt am Main: Suhrkamp. (In German).



- Treichel, H.-U. (2013). Arrival in Kiev. In O., Nowikowa & U., Schweier (Eds.) *Read Europe. Kiew/Kyiv.* (p.197). Klagenfurt / Celovec: Wieser. (In German).
- Wolff, L. (1996). *Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment.* Stanford: Stanford University Press.
- Wolff, L. (2003). The Invention of Eastern Europe. From Voltaire to Voldemort. In D. Granshammer-Hohl, K. Kaser & R. Pichler (Eds.). *Europe and the Borders in mind.* (pp. 21-34). Klagenfurt: Wieser. (In German).

CROSSING BORDERS ACCORDING STANISŁAW VINCENZ AS A SOURCE OF CREATIVITY

Krzysztof Duda (a)

(a) Jesuit University Ignatianum in Krakow. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, Poland.
 E-mail: krzysztof.duda[at]ignatianum.edu.pl

Translation: Roman A. Turovsky. Pontifical University of John Paul II, Krakow. 25, ul. Kanonicza, 31-002, Kraków, Poland. Email: roman_turovski[at]mail.ru

Abstract

Polish philosopher, writer and expert on ancient culture Stanisław Vincenz (1888–1971) is one of those who are almost forgotten in Poland. Lovers of the Eastern Carpathians as well as a handful of researchers of his creative works make efforts to ensure that his legacy, which is definitely of a timeless character, will still be reviewed by critics. Vincenz, who was the spiritual teacher of the Polish Nobelist Czesław Miłosz, merits this at least for his outstanding contribution to the studies on folk culture of the Hutsuls and his philosophy of dialogue between cultures. It was undoubtedly the childhood and living in a multicultural environment, in Sloboda Rungurska, where Hutsul, Polish and Rumanian influences merged with each other, that became an inspiration for Vincenz to study the cultures which surrounded him and which lay at the foundation of the world in which he existed. It was also there that he while yet a child made himself familiar with the language of the Hutsuls which inspired him to repeatedly return to that place almost like to an actually existing Arcadia. In his long life, Vincenz experienced the crossing of both physical and mental borders. One of such spiritual aspects was the decision to translate Fyodor Dostoevsky into Polish. Thus, from the unconscious entry into another dimension in the childhood, through the choices made during his life, Vincenz became the citizen of many cultural worlds and tried to acquire something valuable so that he might at the same time bring these contents into his own cultural circle. His cultural circle was determined by the Polish language, and because of his crossing of the borders and returning to his own place, Vincenz created works that enriched Polish culture but praised other cultures, too. Vincenz is currently becoming an inspiring figure for creating the cultural identity of Ukraine.

Keywords

Stanisław Vincenz; polish culture; philosophy; Eastern Carpathians; folk culture; anthropology of culture; Hutsuls; borders; dialogue; multiculturalism



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПО СТАНИСЛАВУ ВИНЦЕНЦУ КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСТВА

Дуда Кшиштоф (а)

(а) Академия Игнатианум в Кракове. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków, Польша.
E-mail: krzysztof.duda[at]ignatianum.edu.pl

Перевод: Туровский Роман Антониевич. Папский университет Иоанна Павла II. Польша, Краков,
31-002, ул. Канонича, 25. Email: roman_turowski[at]mail.ru

Аннотация

Польский писатель, философ, авторитет в области античной культуры, духовный наставник нобелевского лауреата Чеслава Милоша и переводчик произведений Достоевского на польский язык, Станислав Винценц (1888–1971) – один из тех, чье имя нечасто вспоминается в Польше. В наши дни специалисты по Восточным Карпатам, а также группа исследователей творчества писателя, прилагают большие усилия к популяризации наследия Винценца имеющего вневременную и универсальную ценность, к изучению его выдающегося вклада в изучение культуры гуцулов, ставшей одной из основ для формирования собственной философии диалога культур. Детские и юношеские годы, проведенные в мультикультурной среде Рунгурской Слободы, где гуцульское, польское и румынское влияния сливались в уникальном единстве, в месте, куда он мысленно возвращался всю жизнь как в некую Аркадию, стали для писателя источником собственной поэтической и мистической картины мира. За долгую жизнь Винценца его уделом многократно становился опыт преодоления как физических, так и ментальных границ, определяющих собственное понимание жизни, своего места в ней, всего того, что по мере постижения становилось дорогим сердцу и вдохновляло к творчеству. Проходя путь от неосознанного детского погружения в иное культурное и метафизическое измерение, через дальнейшие, уже взрослые и осознанные, акты преодоления границ, Винценц становился жителем многих культурных миров, стараясь почерпнуть в них что-то ценное, стремясь при этом вносить их смыслы в свой собственный культурный круг, очерчиваемый гуцульским менталитетом и польским языком и определяющий его творчество. Сегодня фигура писателя, его творчество, воспевающее дух Гуцульщины, рассматриваются некоторыми украинскими исследователя в качестве важного источника для конструирования собственной культурной идентичности.

Ключевые слова

Станислав Винценц; польская культура; философия; Восточные Карпаты; народная культура; культурная антропология; гуцулы; границы; диалог; мультикультурализм.



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ВВЕДЕНИЕ

Польский философ, писатель, знаток античной и гуцульской культуры Станислав Винценц (1888–1971) является одной из незаслуженно забытых сегодня фигур, важных для польской культуры. Ценители Восточных Карпат и немногочисленные исследователи его литературного наследия сейчас заботятся о том, чтобы творчество писателя, несомненно обладающее вневременной ценностью, оставалось в поле интересов критиков, вдохновляло антропологов культуры. Мысль Винценца исследовалась как в Польше, так и за границей. К самым значительным из всех следует отнести работу Мирославы Олдаковской-Куфлевой, (Ołdakowska-Kuflowa, 1997), которая анализируя философские установки писателя, его работы, посвященные Платону и Гомеру, рисует портрет мыслителя, обладающего целостным религиозным мировоззрением. Очень важной является и коллективная работа под редакцией Яна Хорошего и Яцека Кольбушевского (Choroszy & Kolbuszewski, 1992), представляющая собой сборник статей, посвященных литературному творчеству Винценца. Следует также отметить интернет-портал www.vincenz.pl (Проект «Архивы Станислава Винценца (1888–1971)»), созданный Хорошим, где представлен богатый визуальный и письменный материал, посвященный наследию Винценца, в том числе здесь можно найти постоянно пополняющуюся библиографию писателя.

Кроме того, что Винценц был духовным наставником польского лауреата нобелевской премии Чеслава Милоша (Kowalczyk, 1992, s. 26–27), он заслуживает пристального внимания современного исследователя, в том числе, и за весомый вклад в исследования нематериальной культуры гуцулов, коренных жителей Восточных Карпат. Обладающий высоким писательским мастерством, Винценц создавал на основе гуцульских преданий труды, пронизанные собственной оригинальной философией диалога и философией культуры. Несомненно, детство, проведенное в Рунгурской Слободе, где взаимно пересекались гуцульские, польские, еврейские, румынские влияния, вдохновило Винценца к исследованию национальных традиций. Особенно повлияла на него культура гуцулов и евреев. Именно тот образ мира, который они с собою несли, стал основой его рассказов, имеющих, как замечает Эва Пачоска, характер саги (Paczoska, 2018, s. 47). В каждом из таких образов мыслитель видел потенциал стать основой целостной антропологической модели, его видение межкультурных взаимоотношений не было утопической идеей, оно выросло из



опыта реальной жизни. Такой опыт заключался в постоянном преодолении чего-то иного, вхождении в новые, социально отличные, но по своей внутренней структуре и логике – очень близкие, сферы. Ведь любовь, страдание, одиночество, расставание и смерть – это феномены являющиеся фундаментом любой культуры, хоть и переживаемые в каждой из них несколько иначе.

Предметом нашего исследования будет явление преодоления всевозможных границ – границ в сознании, во времени и в пространстве, явление, которое в огромной мере определяло характер творчества Винценца. Такие границы становились для писателя скорее приключением, чем препятствием, их преодоление давало карпатскому мыслителю возможность выработки нового взгляда на реальность как таковую, определяло способ формирования собственной личности, испытания ее в самых разных граничных, по-своему – предельных, ситуациях.

ГРАНИЦЫ ДЕТСТВА И МОЛОДОСТИ

Очевидной представляется мысль о том, что страна детства, детские переживания и опыт, получаемый в отроческий период, становятся источником вдохновения для творческих личностей, факторами, существенно влияющими на жизненную стратегию каждого человека. Ведь такой ранний опыт может определить всю дальнейшую жизнь, со всеми ее красками, мироощущением и аксиологическими обертонами, именно он формирует определенного рода скелет для этоса данной личности. Вырастая в среде католического польского дворянства, задающего интеллектуальный тон в местном обществе, Винценц, тем не менее, в свои самые ранние годы воспитывался главным образом гуцулкой Полахной Слипенчук-Рыбенчук (15. X. 1839, Криворовня – 26. III. 1906, Рунгурская Слобода). Именно благодаря ей, будучи еще ребенком, будущий литератор овладел языком гуцулов, ставший для него своеобразным каналом для неустанных возвращений в детство, едва ли не как в реально существующую Аркадию:

«Мой язык детства не является материнским, это язык няни Полахны, то есть украинский. Когда некий внутренний голос диктует мне то, что я должен написать, это всегда происходит на языке няни» (Vincenzowa, 1996, s. 130).

Это признание, сделанное уже зрелым человеком, показывает, насколько сильно он был укоренен в реальности жителей Карпат.

Кроме того, именно Полахна разбудила в маленьком Станиславе воображение: благодаря ей, оставаясь в мире обыденности, заполняемой изучением иностранных языков и уроками игры на фортепиано, мальчик ощущал то, что находилось вне этого мира, прикасался к Трансцендентному в его народном измерении.

Таким образом, культ и культура воображаемого и произносимого слова сплетались в сознании Винценца в один венок, из которого со временем возник собственный литературный мир писателя. Именно так он увидел мир во всем многообразии его измерений и смыслов. А Полахна нашептывала ему на ухо вереницу рассказов о живом небе, реально существующем среди звезд, о мире

«ангельских храмов рассеянных по всему небу. Там радуются, веселятся добрые души, души благословенные, Божественные, лучистые ангелы поющие: слава, слава Господу святому. Это правдивая правда, сынку. Так рассказывал нам старый вещун, человек святой и сведущий. Мальчик наклонился к окну и прислушался. Полахна быстро, с суеверным страхом отодвинулась от окна. – Нет, мой маленький, никто на земле не слышит этого пения, разве что лишь тогда, когда должен уйти – туда. Мой покойный деда слышал ангельское песнопение, когда умирал, а мы, глухие как пень, лишь удивлялись и ничего не слышали» (Rymarowicz et al, 2016, s. 56).

Подводя итог самому раннему периоду жизни Винценца, Жанна Эрш описывает его творческую личность следующим образом:

«собственный уголок Карпат, с его колоритным разнообразием культур, обычаев, постоянно углублялся в нем самом и вокруг него, он постоянно открывал в нем сокровища. Был человеком верующим, католиком. Но нуждался в ереси. Я думаю, что без нее не чувствовал бы себя преданным правде. Иногда я даже спрашиваю себя, не потому ли он был католиком, чтобы иметь возможность быть еретиком? Кроме того, в нем была какое-то особое понимание дьявола – чувствовал в нем избыток его одиночества. Пробовал даже иногда с ним разговаривать. (...) Сама мысль о Польше без ее евреев была для него невыносима. Когда он был еще там, ему удалось, подвергая себя огромной опасности, спасти нескольких из них» (Hersch, 1992, s. 38).



Имея за плечами рано сформировавшийся богатейший мир воображения, Станислав Винценц отправляется уже в новый для него мир школьных переживаний. Близлежащие Коломыя, Стрый, где он изучает греческий, чтобы в будущем стать признанным в мире знатоком Гомера. Затем Львовский университет, и, наконец, – Вена, где писатель изучает юриспруденцию, биологию, философию, санскрит и русский язык, что позволило ему переводить на польский произведения Достоевского (Dostojewski, 1917). Здесь же в 1914 году он защищает докторскую диссертацию, в которой исследует влияние гегелевских построений на концепции Фейербаха. В Вене Винценц знакомится со своей первой женой, крымчанкой Еленой Левентон, имеющей русские и грузинские корни. В супружестве рождается сын Станислав Александр. Его второй брак, заключенный с Иреной Эйсенманн в 1923 году, принес на свет двоих детей: Анджея и Барбару. После перипетий в личной жизни Станислав возвращается в родные края и строит дом в Быстрице, ставший пристанищем и настоящей Меккой для ученых. К нему приезжают гости со всей Европы с желанием впитать в себя таинственность гор и насладиться гостеприимством Винценцев. Оно выражалось не только в предоставлении крыши над головой, но прежде всего – в совместных исследованиях и дискуссиях на наиболее животрепещущие темы.

Здесь же, в Быстрице, Винценц начал и писательскую деятельность которой посвятил всю свою дальнейшую жизнь. При этом, парадоксально, писатель был уверен в том, что «книги не помогают нам перешагнуть самих себя» (Vincenz, 1993a, s. 59). Гораздо больше, чем чтение книг, писатель ценил устные рассказы, хотя и считал полезным громкое чтение вслух, полностью поглощающее внимание слушателя и позволяющее во всей полноте вообразить себе описываемую реальность. Писательская деятельность стала для него преодолением приобретенного знания. Состояние гармонии окружающего мира и человека, который в этом мире встречает Бога, увековечено в изданной в 1936 году Правде старых времен. Книга переработанных гуцульских саг предварена цитатой из Законов Платона в переводе самого Винценца: «в обществе, где не живут ни богатство, ни бедность, самые надежные нравы все еще можно найти. Поэтому, если слышали они в историях, что это – красивое, а то – некрасивое, то по простодушию своему считали наиболее правдивым, и тому верили, а считая правдой то, что говорят о богах и людях, жили согласно тому же» (Vincenz, 1979, s. 5). Как замечает Хороший, в текстах писателя Гомер, Платон и Данте были вплетены в жизнь гуцулов, рождая совершенный образ, почти

завершенную вселенную, в которой все имело смысл и свою цель (Choroszy, 1992, s. 107). Винценц создает мир, приближающий нас к тайне, и при этом никогда ее перед читателем полностью не открывает. Он часто возвращается назад чтобы опять отправится в путь, теперь уже новой гуцульской тропой, чтобы привести читателя в то место, в котором родиться новый вопрос на ту же тему, вопрос о смысле мироздания. Писатель делает это изобретательно, с воображением и убежденностью: «самое сильное воздействие [на читателя] имеют в наше время произведения, которые приводят к порогу определенного порядка вещей, идеала или значения, которые позволяют его предвосхитить, но при этом – не выразить. Дрожь оплодотворения и потрясение рождения» (Vincenz, 1993a, s. 162).

Работа над последующими томами была прервана началом второй мировой войны обрекающей писателя на скитания, которым предшествовало пребывание в советской тюрьме в Станиславова. О заключении писателя А. Ковальчик пишет так: «Винценц был обвинен в нелегальном пересечении государственной границы. Во время допросов его обвинили также в том, что он, якобы, вместе со своим сыном выполнял некое шпионское задание. Неизвестно, как бы развивались дальнейшие события, если бы не надежды, которые связывала советская власть с личностью Винценца. Его освобождение после семи недель ареста не стало триумфом законности. Возможно, писатель должен был организовать литературу. Власть, наверное, рассчитывала на то, что он украсит Парнас Красным флагом. Освобождению писателя способствовало вмешательство некоего известного советского литератора, фамилию которого он предпочел скрыть. После освобождения, ссылаясь на плохое состояние здоровья, Винценцу удалось избежать организации литературы. Помогло ему, наверное, и то, что он оставался далеко от Львова, где его критическое отношение к советской власти, рано или поздно, стало бы достоянием общественности. В Быстрице, среди гуцулов он чувствовал себя в безопасности» (Choroszy, Kolbuszewski, 1992, s. 23). Пережить тяжелые времена помогало Винценцу творчество: «В воображении вперед. И тогда пространство ночи освещенная луной, охраняемое вечными звездами, становится спасением, побегом из мира людей и зажатого горечью мира души. Нейтральное пространство, хотя не особо нежное, но не вражеское» (Vincenz, 1993a, s. 73).



ИЗГНАНИЕ ИЗ АРКАДИИ

В мае 1946 года Винценц покидает место, так долго служившее ему пристанью. Вот как он описывает прощание с гуцульской хатой, с которой его теперь связывало так много воспоминаний:

«настал час насовсем покинуть дом. Оставшиеся уже на противоположенном крутом склоне горной реки блеснули нам на прощание большие окна, завешанные занавесками. Почему вы нас покидаете? Никто не видел, не знал, куда и когда мы исчезли, каждый предпочитал об этом и не знать» (Vincenz, 1966, с. 178; Ruszczak, 2007, с. 8–52).

Наш герой вновь, неся за плечами собственные рукописи, оказывается вместе с семьей на новой земле, в Венгрии, где, однако, не чувствовал себя вполне безопасно. Именно тяжелый опыт этого периода жизни стал основой для повести Послевоенные перипетии Сократа, которую Винценц начал публиковать в 1946 году. За вымышленным образом освобожденного Сократа скрывается сам писатель, который на корабле – как символу изменчивости судьбы – переживает дилеммы, связанные с одиночеством и переходом в новую реальность. Вот как он передает переживания афинского мудреца:

«Сократ посмотрел вверх: весенние теплые звезды угасали. Взглянул перед собой: берегов не видно. Слушал: волны млели остатком сил души, потом лишь шипели. – Пробуждение к чему? Ни одного знакомого силуэта. Ни одного лица для меня, ни меня для кого-либо. Я покинут всеми, всех покинул и я, безвозвратно. Что срослось когда-то – теперь разорвано. Не плод, оторвавшийся от утробы, но лишь пронизанный болью клочок [...] Околеваю. Этот холод превращает меня в камень! Бремя мое растет, плащ отягощает меня болью, мое ложе душит меня, корабль и море тяготят, как и вся земля. Без устали шипят неспособные умереть волны. Тюрьма без конца» (Vincenz, 1985, s. 11).

Тюрьме наступил конец вместе с окончанием войны, которого писатель дождался, оставаясь в Венгрии.

Страна, однако, была уже другой. Советские войска принесли с собой политическую систему, тяготы которой Винценц ранее ощутил на себе в Польше. Теперь, в Ноградвероце [Nógradveroce], продолжая искать человечность во всем окружающем, преодолевая некие

собственные внутренние границы, писатель находит себя в роли переводчика. Комментируя слова Мицкевича, он пишет:

«вечный человек путешествует через историю и неустанно обновляется. Изменяя свою национальную принадлежность, становясь раз греком, раз китайцем, раз поляком... в каждой из этих фигур он сохраняет содержащееся в ней религиозное и политическое прошлое, переплавляется, словно в огромном костре, в единое целое» (Vincenz, 1983b, s. 121).

Вскоре Винценц уезжает из Венгрии, чтобы после длительных скитаний окончательно поселиться в швейцарском Ла-Комб-де-Лансе, где писатель становится мудрецом и учителем не только для ученых и исследователей, но также и для простых местных жителей. Оставаясь интеллектуально активным, он пишет статьи в парижский журнал «Культура», проводит лекции и многочисленные встречи. Так, по его инициативе в замке в Валламонде в 1958 году проводилась конференция, посвященная культуре «малых отчизн».

ФИЛОСОФИЯ ПЕРВИЧНОГО ЛУЧЕЗАРНОГО ДОБРА

В короткой статье невозможно полномерно охватить выдающееся литературное творчество Винценца. Чтобы показать, как писатель решал для себя наиболее глубокие метафизические вопросы, во многом формирующие его религиозность, приведем лишь один из аспектов его мысли, а именно – его понимание Бога, сатаны и человека. Выросший в католической среде писатель, тем не менее, не совсем принимал необходимость существования сатаны как вечного зла. Его иконоборческая убежденность в том, что совершенство Создателя не только не позволяет творить зло, и тем более – обречь на зло и осуждение, принципиально выходит за рамки, допустимые в основных христианских конфессиях, и даже за рамки признанной еретической мысли Оригена. Свое понимание Винценц представил в метафизическом и во многом – апокрифическом (Vincenz, 1983a, s. 562) тексте *Самаэль в небе* (Vincenz, 1993b, s. 182–211). Опираясь на метафизику А.Н. Уайтхеда, утверждавшего, что мир является сном Бога, а также на хасидские повести, писатель создает картину обращения сатаны, совершающегося в некоем Небесном парламенте, который не столько судит и подводит итоги историческому существованию мира, сколько устраняет существующие в мире разделы, производя, таким образом, его трансформацию (μετάνοια).



Автор вкладывает в уста Самаэля такие слова:

«Брат мой, человек, – перебил Самаэль, – в сущности, не в наставлении вас я принимал участие, а в вашем совершенствовании, стремясь к нему через противоположность. Я до конца оставался вашим противником, но никто не обвинит меня в притворстве, свойственному возомнившему о себе праху, я был врагом каждому Божьему творению. Будучи сам зачат светом, я привлек все океаны тьмы – лишь бы только забыть о свете, ведь я так восхитился Господом, что сам возжелал, подобно Ему, творить из ничего и [пребывая] ни в чем. Сейчас, возлагая свой последний вздох к венцу ваших огней, с мыслью, что в поисках моей Рыбы я не понял, не смог понять, что не только темная пыль – из света, и не для того все создано, чтоб пройти бесследно, но для Памяти Господа, что даже я сам вернусь в свет. Сферы, Острова и Престолы сверкали друг другу сквозь просторы вестями улыбок. Рыба, закинув молочную сеть, собирала сияния. Красная звезда покорно скинула свое красное сияние в сеть Рыбы. От Рыбы рассеивалась млечная роса. Человек и Люцифер всасывали ее жадно, подобно весенним травам» (Vincenz, 1993b, с. 208).

И далее:

«Сатана, старший брат человека в творении, в конце концов обретет единство в свете, который является вечной природой того, чье имя правоверному еврею упоминать не пристало. Но и Люцифер, и человек определили имя Создателя одинаково: Люцифер [...]: “Имя Его – тоска по Нему”. Человек прошептал: “Имя его тишайшее”» (Vincenz, 1993b, с. 209).

Люцифер не осужден. Чтобы трансформирующийся мир и далее оставался существующим, вместе с тем – миром без зла, Винценц, устами Слова-Бога дает такой наказ: «Теперь открываю вам вашу тьму, преисполненную светом, светом скрытым, светом исчезающим, светом не порожденным. Каждая его безымянная нить на краешке несет моё имя. Воскрешает меня, воскрешайте и вы танцем ваших стоп. Слава вам, светочам неистребимым, вы мои дети» (Vincenz, 1993b, с. 211). Начиная с этого момента, по Винценцу, в трансформировавшемся мире появится человек, который будет стремиться к Свету, а вслед за ним отправится его старший брат,

Люцифер, который был только испытанием стойкости человека, а не его реальным врагом (Ołdakowska-Kuflowa, 1997, s. 156). По нашему мнению, с помощью литературных средств, обращаясь к каббалистической мысли, Винценц стремится указать новые пути для метафизики диалога. Метафизики, выходящей за рамки воображения системного философа, и уж тем более – теолога.

Сквозь трудный в плане общественных и личностных отношений период между мировыми войнами, и тем более, сквозь время второй мировой войны, обнажившее бездны зла, писатель пронес свою незыблемую этическую позицию. Она выражалась, прежде всего, в понимании Другого и Отличного исключительно в горизонте блага, чему примером служит отношение Винценца к положению евреев в гитлеровской оккупации:

«я многократно признавался в дружбе с евреями. Следовало бы при этом каждый раз добавлять, что это не был, конечно же, комплимент для евреев, но мне самому приносит неза заслуженный почет» (Vincenz, 1993a, s. 102).

Размышляя над трагической судьбой еврейского народа, он оживляет перед собой собирательный образ еврея, на протяжении сотен лет старавшегося приспособиться к ситуации, в которой находился, он анализирует свое положение, чтобы выжить: ни в одной стране он не мог вызвать доброжелательное отношение к себе со стороны политических и военных сил. Его единственным оружием оставалось его знание и сознание своей исключительности. Однако такое оружие – если его можно вообще назвать оружием – было совершенно неэффективным перед лицом человека, напротив, который был готов убивать. Свои размышления писатель заканчивает противопоставлением:

«милосердны сыны милосердных – а здесь мир железа и кровавого месива» (Vincenz, 1993a, s. 105).

Близость людей, убитых нацистами в Коломые, с которыми были связаны воспоминания детства и молодости Винценца, он чувствовал всегда. Уже, будучи на чужбине, часто возвращался к ним в своей памяти:

«я вспоминаю профессора греческого языка Захария Дембитзера, который учил нас любить Гомера. Вспоминаю моего соседа,



справедливого старца Бер-Лантенера, который уже ведомый гестаповцами, успокаивал испуганных причитающих людей в толпе, собравшейся вокруг: дети, это все от Бога, не ропчите. Я вспоминаю моих знакомых и школьных друзей среди евреев, тех, которые погибли еще в молодости, перед первой мировой войной как Марсель Риттигштейн, погибших в первую мировую как Мишо Гулес и Мишелька Сухора, о котором нам наш ксендз в воскресной школе говорил: присмотритесь к нему, у него лицо Иисуса. Я вспоминаю бабушку Гулеса, которая своими маленькими ножками часто моросила по Коломыи, основала фонд для еврейских сирот, а на восьмидесятом году жизни была увезена гитлеровцами вместе с правнучкой. Я вспоминаю пару убогих стариков из-под Косова, принявшую нас, незнакомцев, на ночлег во время оккупации, в одну из особенно морозных ночей, в свой дом, напоминающий скорее подвал. Десятки и сотни лиц толпятся уже на том берегу. Я приветствую их всех» (Vincenz, 1980, s. 78–79).

Сквозь эти слова сквозит подлинность переживания блага, вера, что даже в смертный час оно единственное сохраняет смысл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Винценц на протяжении всей своей долгой жизни переживал опыт пересечения не только физических, но также и ментальных границ. Именно эти два аспекта опыта привели к такому, а не иному отношению к тому, что находится за пределами самой жизни и стало для писателя вдохновением к творчеству. Начиная от неосознанного детского выхода в иное измерение, через принимаемые в течение жизни осознанные решения, Винценц становился гражданином многих культурных миров, стараясь выносить из каждого нечто ценное, и одновременно – стремясь вносить эти содержания в свой собственный культурный круг, очерчиваемый гуцульским менталитетом и польским языком. Благодаря такому преодолению границ и одновременному, неустанному возвращению к самому себе, были созданы произведения, обогатившие польскую культуру и воспевающие культуры иные. Так сегодня его творчество и фигура стали одним из источников конструирования культурной самоидентичности Украины. На протяжении всей своей долгой жизни Винценц старался быть тем, кто объединяет, а не разделяет, тем, кто ищет точки соприкосновения разных, часто весьма отличных культур. В заключение приведем его стихотворение, главным посылом

которого является воспевание дружбы как некой божественной миссии:

*За горой, перевалом, за лесом, за лугом
Он всегда ждет меня – тот, кто стал мне другом
И знак подает мне рядком тополей
Здесь дорога, иди не спеши ты ко мне
И манит меня облаками и громом
Здесь дорога ко мне, к родному порогу
Уж ли это усатый, ушедший мой папа
Уж ли мама стоит, замерев возле хаты
Иль друзья мои, статны, юны и дородны
В предпоследней войне полегли, непокорные
И сыночки, кровинки, надежда единая
То есть живы, погибли, а может – погибнут
Но молнией знак подает мне лучистой
Поспеши, пусть тоска твоя не сомкнет десницы
Шаг за шагом все ближе я к истине буду
Шаг за шагом, в пространство, вглубь... это чудо.¹
(Vincenz, 1993a, s. 174)*

Чудом здесь является само метафизическое желание быть вместе, стремление к единству, способному осчастливить человека. Такое желание почти не реализуемо, хотя – как и любое желание – возможно. Жизненный путь Винценца подытожил Юзеф Чапский:

«Если не одичали мы все на наших отдаленных островах – речь тут идет не о географии – то это лишь благодаря нескольким среди нас, людям масштаба Станислава Винценца, которые были нашей совестью истории, потому как самими собой они реализовали именно польскую, и вместе с тем – универсальную традицию, ее наиболее ценное направление, незапятнанное ни нашей гордыней, ни любой другой волей подчинения себе кого бы то ни было» (Czapski, 1971, s. 125–128).

Список литературы

Choroszy, J. (1992). Huculszczyzny Homer czy Macpherson? In J.A. Choroszy, J. Kolbuszewski (Eds.). *Świat Vincenza. Studia o życiu i*

¹ Перевод с польского Романа Туровского.



- twórczości Stanisława Vincenza (1888–1971)*, (s. 105-114). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Leopoldinum.
- Choroszy, J.A., Kolbuszewski, J. (Eds.). (1992). *Świat Vincenza. Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1888–1971)*. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Leopoldinum.
- Czapski J. (1971). Stanisław Vincenz. *Kultura*, 3(282), 125–128.
- Dostojewski, F. (1917). *Sen śmiesznego człowieka*, tłum. Stanisław Vincenz, Lwów.
- Hersch, J. (1992). Stanisław Vincenz – jego obecność, przeł. E. Skibińska-Cieńska. In J.A. Choroszy, J. Kolbuszewski (Eds.). *Świat Vincenza. Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1888–1971)*, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Leopoldinum.
- Kowalczyk, A.S. (1992). Stanisław Vincenz – szkic do biogramu. In J.A. Choroszy, J. Kolbuszewski (Eds.). *Świat Vincenza. Studia o życiu i twórczości Stanisława Vincenza (1888–1971)*, (s. 15–29). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Leopoldinum.
- Olđakowska-Kuflowa, M. (1997). *Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury*. (2 wyd.). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Paczoska, E. (2018). Między epopeją a sagą: „Na wysokiej połoninie”. In K. Duda, J. Skłodowski (Eds.). *Dziedzictwo kulturowe Karpat* (T. 1, s. 35–48). Kraków: Scientia Plus.
- Ruszczak, A. (2007). Stanisława Vincenza i Jerzego Stempowskiego perypetie na granicy węgierskiej (1939–1940). *Plaj. Almanach Karpacki*, 35, 8–52.
- Rymarowicz, L., Zełenczuk I. & Zełenczuk, J. (2016). Połahna – Stanisława Vincenza przewodniczka po huculskiej duszy. *Plaj. Almanach Karpacki*, 52, 47–56.
- Vincenz, A. (1983a). Posłowie. In S., Vincenz, *Barwinkowy wianek*, (s. 548-565). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
- Vincenz, S. (1966). *Dialogi z sowietami*, London: Nakładem Polskiej Fundacji Kulturalnej.
- Vincenz, S. (1979). *Na wysokiej połoninie. Prawda starowieku. Obrazy, dumy i gawędy z wierchowiny huculskiej*. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
- Vincenz, S. (1980). *Z perspektywy podróży: zbiór esejów*. Kraków: Wydawnictwo Znak.
- Vincenz, S. (1983b). Adam Mickiewicz poeta i człowiek (1798–1855). In S., Vincenz. *Po stronie dialogu* (T. 1, s. 111–122). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- Vincenz, S. (1985). *Powojenne perypetie Sokratesa*, Kraków: Wydawnictwo Znak.

- Vincenz, S. (1993a). *Outopos. Zapiski z lat 1938–1944*, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
- Vincenz, S. (1993b). *Tematy żydowskie*, (2 wyd.). Gdańsk: ATEXT. (Biblioteka im. Stanisława Vincenza).
- Vincenzowa, I. (1996). Rozmowy ze Stanisławem Vincenzem (1961–1962). *Regiony*, 1, 107–138.

References

- Choroszy, J. (1992). Hutsul Homer or MacPherson? In J. A. Choroszy, J. Kolbuszewski (Eds.). *The World Of Vincenz. Studies on the life and work of Stanislaw Vincenz (1888-1971)*, (pp. 105-114). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Leopoldinum. (in Polish).
- Choroszy, J. A., Kolbuszewski, J. (Eds.). (1992). *The World Of Vincenz. Studies on the life and work of Stanislaw Vincenz (1888-1971)*. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Leopoldinum. (in Polish).
- Czapski J. (1971). Stanislaw Vincenz. *Culture*, 3(282), 125–128. (in Polish).
- Dostoyevsky, F. (1917). *The Dream of a Ridiculous Man*, S. Vincenz, transl., Lviv. (in Polish).
- Hersch, J. (1992). Stanislaw Vincenz – his presence, E. Skibinska-Cienska, transl. In J. A. Choroszy, J. Kolbuszewski (Eds.). *The World Of Vincenz. Studies on the life and work of Stanislaw Vincenz (1888-1971)*, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Leopoldinum. (in Polish).
- Kowalczyk, A.S. (1992). Stanislaw Vincenz – a scetch for a biography. In J.A. Choroszy, J. Kolbuszewski (Eds.). *The World Of Vincenz. Studies on the life and work of Stanislaw Vincenz (1888-1971)*, (pp. 15–29). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Leopoldinum. (in Polish).
- Oldakowska-Kufłowa, M. (1997). *Stanislaw Vincenz and the cultural heritage*. (2nd ed.). Lublin: KUL Publishing house. (in Polish).
- Paczoska, E. (2018). Between the Epic and the Saga: "On a high meadow". In K. Duda, Yu. Sklodowski (Eds.). *Cultural heritage of the Carpathians* (Vol. 1, p. 35-48). Krakow: Scientia Plus. (in Polish).
- Ruszczak, A. (2007). The vicissitudes of Stanislaw Vincenz and Jerzy Stempowski on the Hungarian border (1939–1940). *Plaj. Carpathian Almanac*, 35, 8–52. (in Polish).
- Rymarowicz, L., Zelenczuk I. & Zelenczuk, J. (2016). Polahna — Stanislaw Vincenz's Guide to the Hutsul Soul. *Plaj. Carpathian Almanac*, 52, 47–56. (in Polish).
- Vincenz, A. (1983a). Afterword. In S., Vincenz, *Vinca wreath*, (pp. 548-565). Warsaw: PAX Institute publishing. (in Polish).



- Vincenz, S. (1966). *Dialogues with the Soviets*, London: publication of the Polish Cultural Foundation. (in Polish).
- Vincenz, S. (1979). *On the High Uplands. True of old believers. Images, ideas and stories from the Hutsul Verkhovyna*. Warsaw: PAX publishing Institute. (in Polish).
- Vincenz, S. (1980). *From a travel perspective: a collection of essays*. Krakow: Publishing house Znak. (in Polish).
- Vincenz, S. (1983b). Adam Mickiewicz, the poet and the man (1798-1855). In S., Vincenz. *On the dialogue side*. (Vol. 1, pp. 111-122). Warsaw: State Institute Publishing. (in Polish).
- Vincenz, S. (1985). *Socrates' post-war vicissitudes*, Krakow: Publishing house Znak. (in Polish).
- Vincenz, S. (1993a). *Outopos. Notes of 1938–1944*, Wroclaw: Wydawnictwo Dolnośląskie. (in Polish).
- Vincenz, S. (1993b). *Jewish themes*, (2nd ed.). Gdansk: ATEXT (Library named after Stanislaw Vincenz). (in Polish).
- Vincenzowa, I. (1996). Conversations with Stanislaw Vincenz (1961-1962). *Regions*, 1, 107–138. (in Polish).

SPECIFICITIES OF CULTURAL ENVIRONMENTS FRONTIER IN THE TERMINOLOGY OF INTERCULTURAL INTERACTION

Marina A. Krivenkaya (a)

(a) Moscow State Pedagogical University, 88 prospect Vernadskogo, Moscow, Russia
E-mail: ma.krivenkaya[at]mpgu.su; marina1008[at]mail.ru

Abstract

The dis-balance between the terms describing intercultural interactions in different languages has both linguistic and historical-cultural prerequisites. The choice between the terms poly-cultural, multicultural, cross-cultural and intercultural is predetermined mostly by the specifics of the borderlines of cultural environment.

The national specificity of the cultural frontier reflects different degrees of interpenetration of cultures in different countries and regions of the world. Accordingly, the difficulty of choosing a term is connected with the definition of the method of “land surveying” on the two sides of the cultural borderland. Often, the means of different languages reflect in different ways the equality of the participants of intercultural dialogue.

The author examines a correlation between choosing a term in different languages and the nature of intercultural interaction on a certain territory that may involve a different number of participants, and fix the presence of a culturally mixed environment. Thus, intercultural and cross-cultural options for intercultural interaction can characterize a multi-vector regional feature of cultural-linguistic communication, or dialogue.

Based on the analysis of the semantics and connotations of terms that reflect a degree of interconnection between languages and cultures, the article gives some practical advice to interpreters and translators on the appropriateness of terminological use and correspondence in language pairs.

Keywords

Intercultural interaction; cultural environment; borderland; frontier; intercultural dialogue; policultural; multicultural; cross-cultural; international; interethnic; cultural linguistics



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ОСОБЕННОСТИ ПОГРАНИЧЬЯ КУЛЬТУРНЫХ СРЕД В ТЕРМИНОЛОГИИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Кривенькая Марина Александровна (а)

(а) Московский педагогический государственный университет. Россия, г. Москва, проспект Вернадского, дом 88. E-mail: ma.krivenkaya[at]mpgu.su; marina1008[at]mail.ru

Аннотация

Несоответствие между терминами, описывающими сферы межкультурного взаимодействия в разных языках, имеет как лингвистические, так и историко-культурные предпосылки. Выбор между терминами «поликультурный (policultural)», «мультикультурный (multicultural)», «кросскультурный (cross-cultural)» и «межкультурный» во многом объясняется особенностями пограничья культурной среды. Национальная специфика культурного фронта отражает разную степень взаимопроникновения культур в разных странах и регионах мира. Соответственно трудность выбора определенного термина связана с определением способа «межевания» по сторонам культурного пограничья. Зачастую средства разных языков отражают по-разному и степень равноправия участников межкультурного диалога.

Автор статьи соотносит предпочтения в выборе термина в разных языках с характером межкультурного взаимодействия на определенной территории, вовлечением разного количества участников, наличием культурно смешанной среды. Так, интеркультурный и кросскультурный варианты межкультурного взаимодействия могут характеризовать разновекторные региональные особенности культурно-языковой коммуникации/диалога. Отдельное внимание уделяется проблеме нахождения переводческой эквивалентности терминов с префиксом «poli»: терминологический аппарат межкультурного взаимодействия с данной словообразовательной морфемой разрабатывается, по большей части, российскими учеными.

На основе анализа семантики и коннотации терминов, отражающих разную степень сопряжения языков и культур, автор дает некоторые практические советы практикующим переводчикам-международникам об уместности их употребления и соответствия в языковых парах.

Ключевые слова

Межкультурное взаимодействие; культурная среда; пограничье; фронт; диалог; поликультурный; мультикультурный; кросс-культурный; международный; межкультурный; лингвокультурология



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ВВЕДЕНИЕ

Изучая фронтир как в локальном, узко региональном, так и в более широком плане, нельзя не коснуться проблем фронтирной лингвокультуры. Особенно это касается пограничных областей, языковая культура которых испытывает многостороннее влияние — как со стороны областей, граничащих друг с другом, так и языковой культуры, исторически сложившейся и традиционно считающейся классической для каждой из пограничных областей. При этом не стоит игнорировать и фактор сдвига границ между регионами, который может с течением времени сказаться как следствие драматических естественных либо исторических событий.

При смешении и нередко смещении границ в ходе исторического процесса в таких регионах формировался не только определенный порядок общения представителей разных этносов, но и складывался свой, характерный для этой пограничной области, смешанный язык. Это, назовем его, своеобразный «mix and match» — язык, распространенный и понятный только в данной пограничной области. Это язык, для формирования которого региональная принадлежность зачастую оказывается важнее факторов, которые определяют этническую принадлежность его носителей.

Формирование такого языка может идти разными путями: либо путем простого смешения и совместного использования терминов соседних языков, либо, что важно, путем такого проникновения этих языков друг в друга, которое рождает особый язык. Такой язык, характерный непосредственно для жителей конкретного пограничного региона, понять и выучить, не живя именно в этой местности, зачастую невозможно.

Поэтому при выборе терминологического соответствия явлениям в сфере межкультурного диалога (как в языке перевода, так и в языке оригинала) специалистам и переводчикам следует обращать более пристальное внимание на способ и форму «межевания» культур и, соответственно, на способ формирования пограничного языка. Без этого нахождение баланса равноправия участников межкультурного диалога невозможно или будет чрезвычайно затруднено.

КОГДА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНОВИТСЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫМ

Именно учет региональных проявлений межкультурного взаимодействия (Berry, 1990, p. 232–253) требует от переводчика высокого профессионализма. Так, если при взаимодействии



представителей разных национальностей следует переводить термин «межнациональный» как «intercultural», то при взаимодействии представителей не целой нации, а местных групп, характерных для данного региона, лучше использовать термин «interethnic». Учитывать оттенки морфем языка при переводе на пограничных территориях очень важно для определения и обозначения степени «межевания» культур, для выявления фронтирного фактора в пограничной лингвокультуре.

Переводчику, работающему в культурно смешанной среде, важно не только знать языковые особенности районов пограничья, но и иметь представление об исторической «биографии» пограничных языков.

Использование в качестве основы термина лексемы «культура» поможет облегчить задачу переводчика при выборе соответствия терминам, в основе которых — триада «народ-нация-национальность». Поскольку в русском языке прилагательное «национальный» может быть образовано и от существительного «нация», и от существительного «национальность», для перевода «межнациональный» следует выбирать между «intercultural»/«cross-cultural» (если речь идет о взаимодействии между представителями разных национальностей) и «interethnic» (если речь идет о взаимодействии народов на территории одной страны/региона, а не народов как всей нации, когда имеется в виду международный аспект взаимодействия — «international»).

Так, например, понятие «межнациональное согласие» следует переводить, скорее, как «interethnic consent», поскольку употребление его, в большинстве случаев, связано с описанием ситуации взаимодействия народов на территории, исторически являющейся районами совместного проживания представителей разных этнических групп, в том числе и при формировании многонационального государства.

«МЕЖЕВАНИЕ» КУЛЬТУР В ПРЕФИКСАХ

Трудностям перевода терминов «культура», «нация», «народ» и «этнос», которые составляют лексическую основу и суть самого понятия межкультурного взаимодействия, традиционно отводится больше внимания. По сравнению с ними, префиксы воспринимаются менее серьезно, а ведь именно в этих словообразовательных морфемах скрывается проблема пограничья культурных сред. Мы полагаем, что при выборе терминологического соответствия явлениям в сфере межкультурного диалога (причем не только в языке перевода, но и в

языке оригинала) специалистам и переводчикам следует обращать более пристальное внимание на способ и форму «межевания» культур. Передача последних средствами разных языков отражает не только характер взаимоотношений по культурному взаимодействию, но и определяет степень равноправия участников межкультурного диалога.

Кластер терминов, связанных с особенностями межкультурного взаимодействия, в русском языке включает: «межкультурный» (межэтнический, межнациональный), «поликультурный» (полиэтнический), «мультикультурный», «кросскультурный», менее привычный для русского уха «интеркультурный». Следует также упомянуть «монокультурный» и «инокультурный», хотя их нахождение в этом ряду обусловлено лишь составом слова, но не смысловым его наполнением, которое не вызывает сомнений.

Данный кластер отражает универсальную для европейских языков терминологию сферы межкультурного взаимодействия. Нетрудно заметить, что объединяет все термины с иноязычными префиксами (интер, кросс, мульти, поли, моно) как раз тот общий «межкультурный», чей префикс не является латинизмом. «Меж» имеет древнерусское происхождение от межевания, которое несет в себе, с одной стороны, значение разграничения, а с другой, — упорядочения по линии пограничья, включая этнокультурное пространство по разным ее сторонам (Кривенькая, 2018, стр. 360).

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ «ИНТЕР-КРОСС»

Наиболее ярко особенности взаимодействия народов на пограничных территориях отражаются при выборе между словообразовательными морфемами «inter» и «cross». Так, использование для перевода терминов «межкультурное взаимодействие» префикс «cross» указывает на взаимовлияние двух или (самое большее) трех участников, тогда как префикс «inter» предполагает влияние на процесс любого количества участников, т.е. расширяет исходные рамки формирования культурной, в том числе языковой, среды. Эту специфику перевода важно особенно учитывать в контексте существования в пограничной культуре такого фронтального фактора, как этнокультурные стереотипы, что может сопровождаться болезненным отношением к использованию исходных терминов языка.

Употребление префикса «cross» может подразумевать определенные трудности и/или их преодоление в процессе межкультурного взаимодействия — нахождения точек пересечения, линий соприкосновения, перехода или сдвигания границ и т.д.



Употребление терминов «cross-cultural communication/interaction» уместно, когда речь идет о преодолении определенных этнокультурных стереотипов, поиске путей адаптации и интеграции в инокультурном окружении, применении особых педагогических, социо-культурных и иных методик и т.д. В этом случае и в русском языке допускается употребление «кросскультурный» как разновидности «межкультурный» (Meer & Modood, 2013, p. 6-10).

Употребление «inter» не ставит жестких условий, придает более общий характер межкультурному взаимодействию, подразумевает вовлечение любого количества участников, наличие культурно смешанной среды. Это классический вариант перевода терминов с префиксом «меж». Можно сказать, что «inter» — это общее, а «cross» — частное, прецедентное.

«КРОССГРАНИЧНЫЙ» КОД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РЕГИОНАХ МИРА

Интеркультурный и кросскультурный варианты межкультурного взаимодействия могут характеризовать региональные особенности культурно-языковой коммуникации/диалога в разных странах и регионах мира. Например, когда мы говорим об этнокультурном и языковом отмежевании басков в Испании или уэльсцев в Великобритании, стоит сделать выбор в пользу термина «intercultural». Опыт же исторического языкового и этнокультурного взаимодействия славян (сербов, хорватов, черногорцев) и итальянцев (и отчасти австрийцев) в Истрии – пример «cross-cultural communication». Похожий тип кроссграничного взаимодействия демонстрируют итальянцы и немцы в Тироле.

Интеркультурные варианты межкультурного взаимодействия характеризуют отношения культурно-языкового взаимодействия этнических групп внутри единого государства (и, соответственно, пути его формирования). Кросскультурные варианты — это складывание особых территорий пограничного языкового и культурного взаимодействия, где региональная принадлежность становится подчас важнее этнической.

Границы государств во многих районах Европы смещались на протяжении истории довольно часто. Соответственно, народы, проживающие на этих территориях, выработали свой собственный «кроссграничный» код культурного взаимодействия. Это отразилось и в языках, на которых они говорят, — тех самых «mix and match» на фоне естественного многоязычия.

Особенности межкультурного взаимодействия этих народов отражает и двуязычная региональная топонимика. Как видим, в ней может фиксироваться разделение языков при их совместном использовании, а может их проникновение друг в друга и рождение особого языка пограничья.

Употребление терминов с префиксом «inter» в данном случае отражает взаимопроникновение, термины с ним имеют положительную коннотацию, отражающую «воплощенный опыт многовекового совместного общежития народов, которые предпочли взаимообогащение страху потери самобытности» (Кривенькая, 2018, стр. 361).

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА

Следует заметить, что при всей вариативности региональной специфики сам термин «межкультурный диалог» в любом случае остается «intercultural dialogue». Этот термин — краеугольный камень концепции сосуществования культур в едином пространстве, основа теории культурно-языкового разнообразия. С этим связано и другое правило переводчиков-международников. Если к переводу предлагается пара «межъязыковое и межкультурное взаимодействие», то искать региональные эквиваленты нет необходимости. Данная пара являет собой классический пример того, что представляет собой по сути межкультурное взаимодействие: «intercultural cooperation» — это сочетание культурно-языкового диалога: «interlinguistique and intercultural dialogue».

Таким образом, несмотря на региональную специфику пограничных языков, есть термины, которые переводятся во всех случаях одинаково, в соответствии с требованиями международного перевода и концепцией сосуществования культур в едином пространстве. Переводчику не обязательно учитывать пограничные особенности языков, когда он переводит информационные материалы международных межправительственных организаций системы ООН. Здесь, главное — использовать традиционно предлагаемые корпоративным языком пары терминов, принципом совместимости которых является узнаваемость их на всех шести мировых языках. В основе требований к переводу таких информационных материалов со стороны международных организаций лежит не задача передачи точного смысла, оттенка переводимого термина, а наибольшая сочетаемость его на всех шести мировых языках.



Не следует забывать, что терминологический глоссарий сферы межкультурного взаимодействия был предложен международным сообществом в связи с выработкой единых подходов к культурному разнообразию в мире. Критерием соответствия является удовлетворение принципу межъязыкового единообразия (*UNESCO Guidelines*, 2006).

В связи с вышесказанным при переводе информационных материалов международных организаций переводчику можно не учитывать известные ему региональные особенности межкультурного диалога и ориентироваться на соответствие пар: «intercultural interaction/cooperation – межкультурное взаимодействие», «intercultural dialogue — межкультурный диалог», «intercultural и cross-cultural communication — межкультурная коммуникация» и т.д. Кратким пособием в данном случае может служить издание Совета Европы «Белая книга по межкультурному диалогу» (Council of Europe, 2008).

НЕИЗУЧЕННЫЙ ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ

Отдельного внимания заслуживает проблема нахождения переводческой эквивалентности терминов с префиксом «poli». Не будет преувеличением сказать, что терминологический аппарат межкультурного взаимодействия с данной словообразовательной морфемой разрабатывается, по большей части, российскими учеными и находит свое отражение в реалиях на территории постсоветского пространства. Это, в основном, относится к сфере поликультурного образования (poli-cultural education), связанной с особой поликультурной средой (poli-cultural environment), в которой сосуществуют народы многонационального российского государства. Если политика мультикультурализма и, соответственно, мультикультурного подхода к образованию и образу жизни – реалии, сформировавшие вокабуляр западного мира (Канада, Евросоюз), то поликультурность во всех ее проявлениях — поле разработки и деятельности российской науки и практики, и прежде всего в сфере образования (Горячев, 2015, стр. 91-98).

Термины с префиксом «poli», в противоположность всему ассортименту терминологии межкультурного взаимодействия с другими префиксами, еще не закрепились в словарях европейских языков. Текстовые редакторы не принимают слитное написание слов с префиксом «poli» — «поли» не требует дефиса с основой слова только в русском языке. Написание терминов выглядит следующим образом: poli-cultural environment, poli-cultural education, poli-cultural competence (поликультурные окружение/образование/компетенция) и т.д. Как

видим, приведенные примеры отражают употребление «поли-терминов» там, где речь идет о результатах и опыте совместного общежития в поликультурном пространстве, что в последнее время проявляет свою востребованность со стороны международного сообщества экспертов по культурному разнообразию. Пример тому — предложения ввести особый индекс для измерения межкультурной компетентности (Омельченко, 2019, стр. 18-20).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При исследовании реалий и терминологии культурно-языкового разнообразия в мире нельзя не учитывать ту большую роль, которую играет в лингвокультуре фронтальный фактор. Наряду с трудностями и проблемами, которые от него неотделимы, этот фактор является неотъемлемой частью языковой культуры, обеспечивающей языковое разнообразие и обогащение.

Разработка проблемы фронтального фактора в лингвокультуре, в том числе соответствия терминологического аппарата межкультурного взаимодействия средствами разных языков, несомненно, заслуживает самых серьезных исследований, в том числе междисциплинарных.

Фронтальные исследования в области пограничной языковой культуры — это сфера деятельности не только лингвистов, но и этнологов, социологов, историков, психологов, педагогов. Своеобразие терминологии, отражающей особенности пограничья культурных сред, и, главное, референции к смыслу понятий и явлений, которые она выражает, требуют более пристального внимания.

Терминология средств «культурного межвания» связана с историко-культурными реалиями регионов мира, своеобразием межкультурного взаимодействия соседствующих народов, их успешным опытом совместного проживания и доказавшими свою эффективность коммуникационными каналами. Глоссарий терминов межкультурного взаимодействия, в котором отражены особенности пограничья культурных сред в их региональном измерении, несомненно, переживает процесс диверсификации и систематизации, что открывает поле для дальнейших исследований в этой области.

Список литературы

Горячев, Ю. А. (ред.) (2015). *Межэтнические отношения и задачи образования по реализации Государственной национальной политики РФ до 2025 года*. Москва: МИОО.



- Кривенькая, М. А. (2018). Пограничье «межкультурного диалога» в переводе и реальности. В *Русистика и современность*, (Т. 1, стр. 359-365). Санкт-Петербург: Северная звезда,
- Омельченко, Е. А., Теплова, Е. Ф. & Шевцова, А. А. (2019). *Формирование межкультурной компетентности: методические подходы и тестовые материалы: учебное пособие*. Москва: МПГУ
- Berry, J. W. (1990). Psychology of Acculturation: Understanding Individuals Moving Between Cultures. In R. W. Brislin (Ed.) *Applied Cross-Cultural Psychology*, (pp. 232–253). Thousand Oaks, California, USA: SAGE Publications. Doi: <http://dx.doi.org/10.4135/9781483325392>
- Meer, N. & Modood, T. (2013). Interculturalism, Multiculturalism, or Both? *RSCAS 2013/18. Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Global Governance Programme*. Badia Fiesolana: European University Institute.
- Council of Europe (2008). *The Council of Europe's White Paper on Intercultural Dialogue*, Retrieved from: https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf
- UNESCO Guidelines on Intercultural Education* (2006). Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf>

References

- Berry, J. W. (1990). Psychology of Acculturation: Understanding Individuals Moving Between Cultures. In R. W. Brislin (Ed.) *Applied Cross-Cultural Psychology*, (pp. 232–253). Thousand Oaks, California, USA: SAGE Publications. Doi: <http://dx.doi.org/10.4135/9781483325392>
- Goryachev, Yu. A. (Ed.) (2015). *Interethnic relations and education tasks on realization of the State National Policy Strategy up to 2025*. Moscow: MIOO.
- Krivenkaya, M. A. (2018). Borderland of the “multicultural dialogue” in translation and reality. *Russistics and modernity*, (Vol. 1, pp. 359-365). Saint-Petersburg, Russia: North Star.
- Meer, N. & Modood, T. (2013). *Interculturalism, Multiculturalism, or Both?: RSCAS 2013/18. Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Global Governance Programme*. Badia Fiesolana: European University Institute.

- Omelchenko, E. A., Teplova, E. F. & Shevtsova, A. A. (2019). *Cross-cultural competence formation: methodological approaches and test materials: educational guide*. Moscow, Russia: MPGU
- Council of Europe (2008). *The Council of Europe's White Paper on Intercultural Dialogue*. Retrieved from https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf
- UNESCO *Guidelines on Intercultural Education* (2006). Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf>



FOREWORD TO THE TRANSLATION OF MARTIN HEIDEGGER'S ESSAY "BUILDING, DWELLING, THINKING" (1954)

Daria A. Kolesnikova (a)

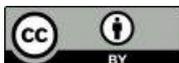
(a) St. Petersburg State University. 7/9 Universitetskaya emb., St. Petersburg, Russia, 199034.
Email: [daria.ko\[at\]gmail.com](mailto:daria.ko[at]gmail.com)

Abstract

This material is a foreword to the translation of an essay by the German philosopher Martin Heidegger.

Keywords

Heidegger; essay; construction; residence; thinking



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРЕВОДУ ЭССЕ М. ХАЙДЕГГЕРА «СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИТЕЛЬСТВОВАНИЕ МЫШЛЕНИЕ» (1954)¹

Колесникова Дарья Алексеевна (а)

(а) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». 199034, Санкт-Петербург,
 Университетская наб. д. 7. E-mail: [daria.ko\[at\]gmail.com](mailto:daria.ko[at]gmail.com)

Аннотация

Данный материал является предисловием к переводу эссе немецкого философа Мартина Хайдеггера.

Ключевые слова

Хайдеггер; эссе; строительство; жительствование; мышление



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\) 4.0 Всемирная](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-00552 в СПбГУ.



В августе 1951 года на симпозиуме «Человек и пространство» в Дармштадте Мартин Хайдеггер прочитал доклад «Строительство Жительство Мышление» для аудитории, преимущественно состоящей из архитекторов. Участники дискуссии живо обсуждали вопрос о необходимости выработки новых масштабов и стратегий для современного градостроительства. Хайдеггер заявил свою оппозицию распространенным в те годы принципам застройки, основанным на выделении архитектуры в особый, «профессиональный» род деятельности. По утверждению философа строительство изначально неотделимо ни от бытийствования (жительства), ни от рефлексии человеком своего места в мире (мышления). В этом смысле, «строительство–жительство–мышление» представляют собой три модуса повседневности, постоянной близости к Другому. Эссе, опубликованное на основе этого доклада в 1954 г., стало часто цитируемым текстом в теории архитектуры и дизайна. В нем Хайдеггер предлагает своего рода «архитектурную герменевтику», которая располагает актуальное пространство сообразно указанным аспектам проживания в среде. Выделяются понятия *места*, *перехода* и *пути*. Место – сущестительное проживания, оно всегда имеет центр, границы, а также собственное имя. Переход – глагольная форма, свидетельство изменения, подчеркивающее место подобно мосту, переброшенному с одного берега на другой. Путь же – это выражение жительства, задающее его этапы и параметры. По Хайдеггеру, укорененность в языке коррелирует с обретением средой обитания собственной топологии. Так, открытость мира обеспечивается наличием в нем пределов и горизонтов, которые выступают и как метафора контекста (горизонта нашего понимания), и как конкретные пространственные границы. Интерпретация городской среды символически формирует картину мира индивида, но эта интерпретация зависит от его первоначальных жизненных установок и основывается на горизонтах человеческого опыта, кругозора. В модели Хайдеггера горизонты (*ὄριζμός*) – это отмеченные пределами (*πέρας*) пространства, которые открываются вокруг мест. Горизонт становится жизненно важным для идентификации места, он служит метафорой контекста, в котором люди оценивают вещи, себя и других. Такие горизонты составляют реальные или воображаемые присутствия, которые позволяют отождествлять себя с собой и на этой основе отождествлять себя с окружающей средой, выявлять местоположение вещи среди других вещей. Это объясняет приверженность Хайдеггера любительской, рустикальной архитектуре, как бы «вписываемой» в ландшафт согласно

каждодневной практике человеческого проживания, а не стандартизированным строительным образцам. Хайдеггер использует греческое понятие топоса – места, принадлежащего вещи, именно акт присвоения сообщает различие и принципиальную открытость места, обусловленную его границами. Таким образом, место и идентичность обуславливают друг друга. С одной стороны, место фиксирует и задает идентичность, с другой, «глагольность» обживания сообщает изменения в экзистенциальной плоскости.



BUILDING, DWELLING, THINKING

Martin Heidegger (a)

(a) University of Freiburg. Fahnbergplatz, 79085 Freiburg im Breisgau, Germany.
Email: noname[at]noname.com

Translation: Daria A. Kolesnikova. St. Petersburg State University. 7/9 Universitetskaya emb., St. Petersburg, Russia, 199034. Email: daria.ko[at]gmail.com

Abstract

The translation has been done from the edition: Heidegger M. (1997). *Vorträge und Aufsätze*. Neske Verlag Stuttgart, 120–180. The translator's punctuation is retained in the text.

Keywords

Heidegger; translation; construction; residence thinking; essay



This work is licensed under a [Creative Commons «Attribution» 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИТЕЛЬСТВОВАНИЕ МЫШЛЕНИЕ

Хайдеггер Мартин (а)

(а) Фрайбургский университет. Fahnbergplatz, 79085 Freiburg im Breisgau, Германия.
Email: noname[at]noname.com

Перевод и примечания: Колесникова Дарья Алексеевна. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. д. 7.
E-mail: daria.ko[at]gmail.com

Аннотация

Перевод выполнен по изданию Heidegger M. (1997). *Vorträge und Aufsätze*. Neske Verlag Stuttgart, 120–180. В тексте сохранена пунктуация переводчика

Ключевые слова

Хайдеггер; перевод; строительство; жительство; мышление; эссе



Это произведение доступно по [лицензии Creative Commons «Attribution» \(«Атрибуция»\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
4.0 Всемирная.



I

В нижеследующем мы попытаемся помыслить жительство¹ и строительство. Это размышление о строительстве не ставит задач открытия архитектурных идей или описания правил строительства. Этот мысленный эксперимент не рассматривает строительство с точки зрения архитектурного мастерства или инженерного искусства; но возвращает строительство обратно в область, к которой принадлежит все, что *есть*.

Мы спрашиваем:

1. Что такое жительство?
2. Как строительство соотносится с жильем?

К жилью, как кажется, можно подступиться только через строительство. Строительство, имеет своей целью жительство. Тем не менее, не каждое здание является жилищем. Мост и аэропорт, стадион и электростанция являются зданиями, но не жилищами; железнодорожный вокзал и автобан, плотина и рынок – тоже здания, а не жилища. Тем не менее, эти здания находятся в сфере нашего жилья. Эта область простирается за пределы этих зданий и не ограничивается только жилищем. Дальнобойщик – дома на шоссе, но у него нет там жилища; работница – дома на прядильной фабрике, но там нет ее жилища; главный инженер чувствует себя как дома на электростанции, но он там не обитает. Перечисленные здания приючают (*behausen*)² человека. Он обживает их, но все же не живет в них, если под жильем мы подразумеваем обретение убежища. В условиях сегодняшнего дефицита жилья это уже успокаивает: жилые дома действительно предоставляют убежище. Современные дома могут быть даже хорошо спланированы, просты в обслуживании, привлекательны, доступны, с хорошей вентиляцией и освещением. Но гарантируют ли они, что там имеет место *жительство*? Но даже те здания, которые не являются жилищами, определяются через жительство, поскольку они служат человеческому жилью. Таким образом, жительство в любом случае будет целью любого

¹ Понятие *Wohnen* переведено как «жительство», так как оно наиболее полно отражает процесс повседневного бытия в мире, в области обитания. (Прим. переводчика)

² Мы сочли необходимым привести в оригинале некоторые слова, для которых нет прямых эквивалентов в русском языке, здесь и далее они выделены курсивом и заключены в скобки. Во всех остальных случаях курсивное выделение принадлежит автору эссе. (прим. переводчика).

строительства. Жительство и строительство связаны друг с другом как цель и средство. Но до тех пор, как мы таким образом воспринимаем жительство и строительство, мы принимаем их за два различных рода деятельности, пребывая в уверенности, что это правильно. Но когда мы используем эту схему «цель-средство», мы не видим других существенных отношений. Строительство – это не просто средство, а способ жительствоваания, строительство уже само по себе является жительствоваанием. Кто скажет нам об этом? Кто даст нам эталон, с помощью которого мы сможем измерить сущность жительствоваания и строительства?

Утверждение сущности вещи приходит к нам из языка, при условии, что мы уважаем его собственную сущность. Между тем, по всей Земле бушует необузданная, но заумная речь, записанная и отправленная говорящим. Человек ведет себя так, как будто *он* был создателем и хозяином языка, в то время как на самом деле *язык* остается хозяином человека. Возможно, вызванное человеком искажение *этих* отношений господства ведет его природу к отчуждению. Хорошо, что мы все еще заботимся о языке, но это не помогает, если мы относимся к языку просто как средству выражения. Среди всего, что мы, люди, можем привнести с собой в речь, язык самый значимый и всегда первостепенный.

Что же тогда означает строительство? Древневерхнемецкое слово “*buan*”, соответствующее строительству (*bauen*) – значит проживать. Это означает: оставаться на месте. Истинное значение глагола строить, а именно проживать, было потеряно для нас. Но скрытый след этого сохранился в немецком слове “*Nachbar*”, сосед. Сосед является “*Nachgeburt*”, “*Nachgebauer*” – дословно ближний житель, тот, кто живет поблизости. Глаголы *buri*, *büren*, *beuren*, *beuron* обозначают жительствоваание, поселение. Таким образом, древневерхнемецкое слово *buan* не только напрямую указывает нам, что строить – это значить жительствоваание, но и дает ключ к пониманию того как мы должны думать о производном от него – жительствоваании. Когда мы говорим о жительствоваании, мы обычно представляем деятельность, которую человек выполняет наряду со многим другим видам деятельности. Мы работаем здесь и живем там. Мы не просто живём, это было бы фактически бездействие, мы делаем дело, мы работаем, мы путешествуем и между тем жительствоваем, то здесь, то там. Строительство изначально означает жительствоваание. Где бы ни употреблялось слово строительство, оно все еще несет свой первоначальный смысл, и оно также говорит о том, *как далеко* простирается сущность жительствоваания. Слова *bauen*,



buan, bhu, beo – воплотились в немецком глаголе “bin”, быть; в выражениях “ich bin”, “du bist” и императивных формах bis, sei. Что это значит: ich bin, я есть? Через старонемецкое слово bauen, от которого произошло “bin”, мы находим ответ: “ich bin”, “du bist” действительно означает: я живу, ты живешь. То, как ты и я, то, как мы, люди на Земле существуем – это и есть Buan, жительствоование. Быть человеком: значит быть смертным на земле, значит: жить. Старонемецкое bauen, которое указывает на то, что человек должен *быть* постольку, поскольку он *жительствоует*, означает *одновременно*: сохранять, заботиться, в частности: возделывать поля, культивировать виноградные лозы. Такое строительство означает только охранять рост, приносящий плоды. Строительство в значении возделывания и ухода – это не производство. Строительство кораблей и храмов, с другой стороны, является определенным способом производства. Строить в этом случае, в отличие от культивирования, означает возведение. Оба способа строительства – строительство как культивирование, латинское colere, cultura и строительство как возведение зданий, aedificare – включены в действительное строительство – жительствоование. Строительство как жительствоование, то есть существование на Земле – это “Gewohnte”¹ привычно-обжитое, обычное, что разумеется само собою настолько, что даже вовсе и не замечается. По этой причине строительство уступает множественности способов, которыми осуществляется жительствоование, в том числе деятельности по выращиванию, уходу и культивированию. Однако, в конце концов, эти действия претендуют называться строительством и, вместе с этим, единолично утверждать факт строительства. При этом истинный смысл строительства, а именно жительствоование, теряется в забвении.

На первый взгляд это событие выглядит так, как будто это не более чем изменение значения простых слов. В действительности, однако, в этом процессе скрыто нечто решающее, а именно: жительствоование не воспринимается как житие человека; и в последствии жительствоование перестает считаться характерной чертой человека.

Свидетельство исконных значений проявляется в том, что язык убирает фактическое значение слова строительство, которым является жительствоование; поскольку в основных словах языка разговорные значения занимают место истинных значений, которые легко

¹ В немецком языке есть очевидная связь между wohnen (жить, проживать) и gewohnt (обжитой, привычный). (Прим. переводчика)

забываются. Человек едва ли задумывался о секрете этого процесса. Язык скрывает от человека свою простую и высокую речь. Но эта первичная речь языка не становится немой; она просто умолкает. Человек, однако, не обращает пристального внимания на это молчание.

Но если мы внимательно послушаем, что говорит язык в слове *bauen*, мы услышим три вещи:

1. Строительство действительно является жительствованием.
2. Жительствование – это способ, которым смертные существуют на земле.
3. Строительство как жительствование разворачивается в строительство, которое культивирует и выращивает, и строительство, которое возводит здания.

Если мы подумаем об этих трех положениях, мы получим подсказку и заметим следующее: до тех пока мы не вспомним, что каждое здание, в сущности, является жилищем, мы даже не сможем надлежаще *спросить*, не говоря уже о том, чтобы правильно решить, что значит строить. Мы не жительствоваем потому, что мы построили, но мы строили и строим, потому что жительствоваем, то есть, потому что мы являемся *жителями*. Но в чем же заключается сущность жительствования? Давайте послушаем еще раз, что говорит нам язык: старосаксонское слово “*wunon*” и готское слово “*wunian*”, как и старонемецкое *bauen*, означают оставаться на месте. Но готское слово “*wunian*” более отчетливо говорит о том, как это пребывание на месте проживается. *Wunian* означает: быть в мире, быть довольным, привести к миру, оставаться в мире. Слово *Friede*, означает свободный, *Frye*, а *fry* означает: сохраненный от зла и угроз, защищенный. Глагол *freien* – означает, собственно, щадить, хранить. Этот процесс щажения (*Schonen*), однако, не значит, что мы просто не причиняем вреда тому, кого мы щадим. Истинное щажение – это когда происходит нечто *положительное*, когда мы упрятываем нечто в его собственную сущность, когда мы освобождаем и возвращаем его в мир, в соответствии с истинным смыслом слова *freien*. Жительствовать, то есть быть введенным в замирание, значит оставаться в ограде мира, это означает быть отпущенным на свободу, какая щадит-хранит всякое, упрятывая каждое в его сущность. *Основная черта жительствования проявляется в щажении*. Щажение пронизывает жительствование во всей его протяженности. Этот горизонт открывается нам, как только мы размышляем о том, что в жительствовании заключается бытие человека, а именно, в пребывании смертных на Земле.



Но «на земле» уже означает «под небом». И то, и другое означает также *совместность* «пребывания перед божественным» и включает «принадлежность друг к другу». К *первичному* единству принадлежат четыре (*die Vier*): земля и небо, божественные и смертные.

Земля, служащая носительница, цветущая подательница плодов, раскинувшаяся в камнях и потоках, плодящая всходы и зверье. Говоря – земля, мы от одно-сложенности четырех мыслим тем самым уже и других трёх.

Небо – это путь солнца в облаках, изменчивое движение луны, блуждающий блеск созвездий, времена года, их смена, свет и сумерки дня, мрак и прозрачность ночи, погода и непогода, облака и голубая глубина эфира. Говоря – небо, мы из одно-сложенности четырех мыслим тем самым уже и других трёх.

Божественные – посланцы божества, что подают знак. Изнутри священного владычества божественных являет свое настоящее Бог или удаляется в свое сокрытие. Мы говорим божественные, и мыслим тут же остальных трёх через одно-сложенность четырёх.

Смертные суть люди, их называют смертными, поскольку только они могут умирать, умирать – это значит осилить смерть *как* смерть. Умирает только человек, умирает постепенно, пока он остается на земле, под небом и перед божественными. Говоря – смертные мы из одно-сложенности четырех мыслим тем самым уже и других трёх.

Это “одно-сложенное единство” (*Einfalt*) мы называем *четверицей* (*Das Geviert*). Смертные *существуют* в четверице, где они *жительствоуют*. Но основная черта жительствоования – это щажение. Смертные жительствоуют так, чтобы щадить-хранить четверицу в ее сущности. Соответственно, жительствоующее щажение – четверо-сложено (*vierfältig*).

Смертные жительствоуют, спасая землю; здесь используется устаревшее значение глагола *retten*, известное еще Лессингу. Спасти – значит не только защитить от гибели, спасти значит на самом деле: вернуть что-либо его существу, успокоить, отпустить на свободу. Спасти землю – это больше, чем использовать или изнашивать ее. Спасение земли не равносильно овладению или подчинению, откуда лишь один шаг до безграничной эксплуатации.

Смертные жительствоуют, воспринимая небо как небо. Они предоставляют светилам идти своим чередом, они не стараются сделать погожей непогоду и наоборот, они не превращают день в ночь, а ночь в день.

Смертные жительствоуют в той мере, в какой они ожидают божественных как божественных. Смертные живут в той мере, в какой они, будучи смертными, ведут способность умереть к благой смерти, а не к пустому исчезновению и не к бессмысленной задержке в земном пребывании. Они не создают себе богов и не поклоняются идолам. В самой глубине несчастья они ждут отозванного спасения.

Смертные жительствоуют в той мере, в какой они управляют своей сущностью: тем, что они способны осилить смерть как смерть и они могут использовать эту возможность, чтобы иметь благоую смерть. Быть смертным не значит избегать смерти, но это значить уже при жизни принимать смерть как хранилище Ничто; это также не значит, что нужно омрачать жительствоование, вслепую бредя в ожидании конца.

В спасении земли, в восприятии неба, в ожидании божественных и в направлении своей жизни к смерти сбывается жительствоование как четверо-сложенное щажение четверицы. Щадить означает: укрывать, брать под кров (*hüten*) четверицу в её сущности. То, что укрыто, должно быть надежно защищено. Если жительствоование щадит четверицу, где же хранит оно ее сущность? Каким образом смертные претворяют жительствоование в это щажение? Смертные никогда не были бы способны на это, если бы жительствоование было бы просто местопребыванием на земле под небом, перед божественными, вместе со смертными. Жительствоование – это, напротив, всегда уже местопребывание при вещах. Жительствоование как щажение, удерживает четверицу там, где проживают смертные: в вещах.

Однако, пребывание при вещах, называемое четверицей щажения не является чем-то пятым. Напротив, пребывание при вещах является единственным способом, каким четверичное обитание последовательно свершается в четверице. Жительствоование вносит сущность четверицы в вещи, которые хранятся-щадятся, оставляемые, как вещи, в покое — в их сущности. Но сами вещи укрывают четверицу *только тогда*, когда они сами, *как* вещи, отпущены в своей сущности. Как это происходит? Это проявляется в том, как смертные возделывают и культивируют растения, или в том как они изготавливают вещи. Возделывание и возведение – это строительство в узком смысле. *Жительствоование*, поскольку оно сохраняет четверицу в вещах, является сохранением *строительства*. И это подводит нас ко второму вопросу:



II

Как строительство соотносится с жительствованием?

Ответ на этот вопрос прояснит для нас понимание строительства, мыслимое из сущности жительствования. Рассмотрим строительство в значении возведения вещей и зададимся вопросом: что такое построенная вещь (*ein gebautes Ding*)? Мост может служить примером для наших рассуждений.

Мост «легко и мощно» возносится над рекой. Мост не просто соединяет два берега. Собственно, берега и становятся берегами только, когда мост образует переход. Мост позволяет берегам лежать друг против друга, подчеркивая специфическое своеобразие – различия двух берегов. Берега также не тянутся вдоль течения реки, как равнодушные пограничные полосы суши. Мост оборачивает к потоку реки один из берегов, а другой к просторам ландшафта, лежащего за ним. Это приводит поток, берег и землю к взаимному соседству. Мост *собирает* окрест речного потока землю как ландшафт. Таким образом, он направляет поток через луга. Опоры моста, покоящиеся в русле течения, несут размах арок сводов, которые позволяют водам реки течь своим чередом. Воды могут бродить под мостом тихо и весело, либо небесные потоки вод от штормов или таяния снега могут обрушиваться и пролетать мимо опор моста, но мост готов к погодным условиям неба и его неустойчивой природе. Даже там, где мост перекрывает поток на мгновение, он удерживает его до неба, а затем снова пропускает потоки воды через арки шлюзов, освобождая их.

Мост позволяет потоку выбирать свое русло и в то же время предоставляет смертным их путь, чтобы они могли идти от одной земли к другой. Мосты ведут нас разными путями. Городской мост ведет от замка к соборной площади, речной мост за городом доставляет лошадей и телеги в окрестные деревни. Неприметная переправа через ручей в виде старого каменного моста дает повозке с лесом возможность проехать до деревни. Автодорожный мост привязан к сети максимально быстрого междугороднего трафика. Мост пересекает реку и ручей, в высоких и низких арках; помнят ли смертные об этом изгибе пути моста или забывают, что они всегда находятся на пути к последнему мосту, стремясь преодолеть грешное и нечестивое в себе, чтобы предстать перед святостью божественного. В том переходе, который совершает смертный, мост соединяет землю с небом. Мост *собирается* как переход к божественным. Независимо от того, является ли присутствие божественного особенно узнаваемым

и видимым, как отражено в фигурках святых на мостах, или напротив след их присутствия замаскирован и скрыт.

Мост *по-своему собирает* вокруг себя землю и небо, божественных и смертных. Наш язык именуется собрание в его сути одним старым словом “thing”¹. Мост – это вещь – как вышеупомянутое собрание четверицы. Мост – изначально и в сущности всего лишь мост, а дополнительно к этому и по особому случаю он, как принято думать, может выражать и что-нибудь ещё. Мост становится символом, например, всего, что было названо ранее. Мост не является символом в том смысле, что он изначально не выражает то, что, ему не соответствует. Если мы будем говорить конкретно о мосте, он никогда не проявится как метафора. Мост – это вещь и *только*. Но только ли? В качестве вещи он собирает четверицу.

Наше мышление, конечно, давно привыкло *преуменьшать* сущность вещи. В ходе развития западного мышления это привело к тому, что вещь представлена в виде неизвестного X, к которому прикреплены воспринимаемые свойства. С этой точки зрения, все, что уже относится к *собирающей сущности этой вещи*, кажется нам деталью, которая может быть истолкована второстепенно. Однако мост никогда не был бы просто мостом, если бы не вещь.

Конечно, мост – это вещь *своего* рода; потому что мост собирает четверицу *таким образом*, что допускает *определенное место* (*eine Stätte verstatet*). Но только то, что *само* является *местом* (*Ort*), может вмещать определенную область мест. До того, как появился мост, места еще не было. Конечно, до появления моста был поток реки, текущий среди множества участков, которые могли быть заняты чем-то. Но лишь один из этих участков стал местом и произошло это *из-за моста*. Таким образом, не мост возникает на каком-то месте, а место возникает только с появлением моста. Мост – это вещь, которая собирает четверицу, и делает это таким образом: предоставляя ей определенное место. Исходя из этого, месторазмещения определяют места и пути, которыми простирается пространство.

Только те вещи, которые являются местами в этом смысле – допущены в пространства. Что означает это слово – «пространство» – сокрыто в исконном значении немецкого слова. Raum, Rum означает площадь, очищенную для поселения. Пространство – это что-то освобожденное, допущенное в границу, греческого *περας*. Граница – это не то, где что-то прекращается, но как определяли ее греки, она есть то, где что-либо *начинает свою сущность*. Отсюда понятие

¹ Немецкое слово *Ding* (вещь) происходит из древненем. *thing* — тинг, народное собрание, вече, публичный процесс, дело (прим. переводчика).



огισμόβ, что означает границу, горизонт. Пространство – это, по сути, вмещенное, допущенное в границы. Вмещенное всегда допущено, и таким образом соединено, собрано местом, то есть вещью вроде моста. *Соответственно пространства получают свою сущность из мест, а не из «пространства».*

Вещи, которые как места допускают наличие определенных месторазмещений, мы условно называем зданиями. Они так называются, потому что произведены путем возводящего строительства. Однако, каким должно быть производство, то есть строительство, мы узнаем только после того как рассмотрим сущность тех вещей, для изготовления которых необходимо строительство. Эти вещи являются местами, которые предоставляют место-размещение четверице. Связь между местом и пространством заложена в сущности этих вещей, но также и в отношении места к человеку, который в нем пребывает. Теперь попытаемся прояснить сущность этих вещей, которые мы называем зданиями, кратко рассмотрев следующее.

С одной стороны: какова связь места с пространством? А с другой стороны: какова связь человека с пространством?

Мост – это место. Как таковая вещь, он позволяет быть пространству, куда допущены земля и небо, божественное и смертные. Пространство, которое дозволено мостом, содержит множество мест в различной близости и удаленности от моста. Эти места, однако, можно рассматривать как простые позиции, между которыми существует измеримое расстояние; это расстояние – по-гречески “στάδιον”, которое всегда высвобождается именно простыми позициями. Пространство, высвобожденное позициями, является пространством особого рода – как расстояние, стадион, которые являются, как говорит нам слово стадион на латыни – “spatium”, пространством между (*Zwischenraum*). Таким образом, близь и даль между людьми и вещами могут стать просто отдалениями, промежутками. В пространстве, которое представлено как *spatium*, мост теперь проявляется как простое нечто, размещенное в определенной позиции. Эта позиция всегда может быть занята чем-то другим или заменена путем простой маркировки. Более того, из пространства как пространства между можно выделить простые измерения высоты, ширины и глубины. Это, так сказать, выделенное, по-латыни *abstractum*, мы представляем как чистую множественность трех измерений. Однако то, что вмещает эта множественность, более не определяется расстояниями, это уже больше не *spatium*, а только *extensio* – растяжение. Но и из пространства как *extensio*, однако,

возможна дальнейшая абстракция на основе аналитико-алгебраических отношений. То, что они высвобождают, это возможность чисто математического построения множественностей с любым числом измерений. Это математически высвобожденное – можно назвать «пространством». Но «данное» пространство в этом смысле не содержит пространств и мест. Мы никогда не найдем в нем мест, то есть таких вещей как мост. Однако с другой стороны, в пространствах, которые высвобождены местами, всегда находится пространство как «пространство между», а в нем еще пространство как чистое расширение. *Spatium* и *extensio* всегда дают возможность измерить вещи и то, что они высвобождают, в соответствии с расстояниями, протяженностями, направлениями. Но тот факт, что они *универсально* применимы ко всему, что имеет расширение, ни в какой мере не делает числовые величины *основанием* для сущности пространств и мест. Каким образом в связи с этим современная физика вынуждена представлять пространственную среду космического пространства как единство поля, которое определяется телом как динамический центр, не может быть здесь обозначено.

Пространства, через которые мы проходим каждый день, высвобождены местам; их сущность коренится в вещах, таких как здания. Если мы обратим внимание на эти отношения между местом и пространствами, между пространствами и пространством, тогда мы сможем остановиться, чтобы рассмотреть отношения между человеком и пространством.

Когда речь идет о человеке и пространстве, это звучит так, как будто человек стоит на одной стороне, а пространство – на другой. И все же пространство для человека не напротив. Пространство для него и не внешний предмет, и не внутреннее переживание. Не бывает людей так, чтобы кроме того имелось еще *пространство*, ибо если я говорю «человек» и подразумеваю того, кто существует по способу человека, то есть *жительствоует*, то я этим словом «человек» уже наименовал местопребывание внутри четверицы при вещах. Даже если мы связываем себя с теми вещами, которые от нас удалены, мы все равно остаемся при вещах. Мы представляем далекие вещи не просто у себя в голове, как нас однако этому учат, чтобы в наших головах оставались лишь заменители вещей, то есть представления о них. Но если все мы сейчас подумаем о старом мосте в Гейдельберге прямо отсюда, из этого места, то мышление, направленное к этому месту будет не просто опытом присутствующих здесь людей, но в большей мере будет относиться к сущности нашего мышления *в сторону* упомянутого моста, таким образом, что это мышление *в себе*



преодолевают расстояние до этого места. Мы исходим отсюда, от этого моста, а не от содержания представления в нашем сознании. Отсюда мы можем даже быть намного ближе к этому мосту и тому, что он высвобождает, чем тот, кто использует этот мост ежедневно, равнодушно переходя через реку. Пространства и вместе с ними “данное” пространство всегда уже высвобождено в пределы пребывания смертных. Пространства открываются тогда, когда их впускают в человеческое жительство. Сказать, что смертные *есть* – это значит, что *жительства*, они преодолевают пространства в силу их пребывания среди вещей и мест. И только потому, что смертные соответственно своей сущности преодолевают пространства, они могут пространства проходить. Но, в прохождении, мы не отказываемся от их преодоления. Скорее, мы всегда проходим через пространства таким образом, что при этом уже преодолеваем их, постоянно пребывая среди ближних и дальних мест и вещей. Когда я иду к выходу из зала, я уже нахожусь там, и я не мог бы туда войти, если бы я уже не был там, как я есть. Я никогда не существую только здесь как это инкапсулированное тело, скорее, я там, то есть я уже преодолеваю пространство, и только тогда я могу пройти через него.

Даже когда смертные уходят «в себя», они не оставляют свою принадлежность к четверице. Когда, как мы говорим, мы приходим в себя, мы возвращаемся к себе из вещей, *не замечая* нашего пребывания при вещах. Даже, потеря связи с вещами, которая происходит в состоянии депрессии, была бы совершенно невозможна, если такое состояние не было таким как человеческое состояние: а именно пребыванием *при* вещах. Только если это пребывание уже определяет человеческое существо, тогда вещи, среди которых мы пребываем могут *не* обнаруживаться и *не* беспокоить нас больше.

Отношение человека к местам и через места к пространствам основано на жительствовании. Отношения между человеком и пространством – не что иное, как по существу продуманное жительство.

Когда мы размышляем о попытках установить связь между местом и пространством, а также об отношениях между человеком и пространством, свет падает на сущность вещей, которые являются местами и которые мы называем зданиями.

Мост – вещь такого рода: место допускает единственность земли и неба, божественных и смертных в место-размещение, путем размещения его в пространстве. Место высвобождает четверицу дважды. Место *допускает* четверицу и место *устанавливает* четверицу. Высвободить в значении допускать и высвободить в

значении устанавливать – оба этих значения соотносятся друг с другом. В качестве двойного высвобождения, место - это укрытие (*Hut*) четверицы, или как говорит то же самое слово: *Huis, Haus* - дом. Вещи такого рода, являются местами, которые приючают людей. Вещи такого рода – это жилища, хотя и не обязательно жилые дома в узком смысле.

Создание таких вещей – это строительство. Сущность его в том, чтобы оно соответствовало природе этих вещей. Это вещи являются местами, которые допускают пространства. Вот почему строительство, в силу того, что оно устанавливает места, оно также создает и объединяет пространства. Поскольку строительство устанавливает места, соединение пространств этих мест обязательно привносит с собой пространство, как *spatium* и *extensio* в структуру зданий. Одно только строительство никогда не формирует *пространство*. Ни прямо, ни косвенно. Тем не менее, поскольку оно производит вещи как места, строительство ближе к сущности пространств и сущности *пространства*, чем вся геометрия и математика. Строительство возводит места, которые предоставляют место-размещение четверице. Из той односложности, в которой земля и небо, божественные и смертные принадлежат друг другу, строительство *получает указание* для установления мест. Из четверицы строительство *перенимает* стандарт для всех измерений и замеров пространств, каждое из которых высвобождено предоставленными местами. Здания охраняют четверицу. Это вещи, которые по-своему щадят-хранят четверицу. В спасении земли, в восприятии неба, в ожидании божественных, в сопровождении смертных совершается событие жительствоваания – как четверосложенного хранения-щажения четверицы, Таким образом, подлинные здания характеризуют жительствоваание в его сущности и приючают ее.

Характеризуемое таким образом здание является превосходным для жительствоваания. Если оно *является* таковым, то строительство *было* осуществлено в соответствии с запросом четверицы. Все планирование основывается на этом запросе, и планирование в свою очередь, открывает подходящие участки для проектов.

Как только мы попытаемся мыслить сущность конструирующего строительства, с точки зрения жительствоваания, нам станет ясно, в чем заключается процесс производства (*das Hervorbringen*), с помощью которого осуществляется строительство. Обычно мы воспринимаем производство как деятельность, результатом которой является законченное здание. Но можно представить себе



производство следующим образом: мы постигаем что-то, что является правильным, и тем не менее никогда не сталкиваемся с его сущностью, которая является привнесением (*Herbringen*), которое что-то претворяет. Так строительство привносит четверицу в вещь, мост, и претворяет эту вещь как место в уже существующее, которое теперь впервые высвобождается только *через* это место.

В переводе с греческого «производить» – $\tau\epsilon\chi\omega$. Слово $\tau\epsilon\chi\eta$, техника имеет корень $\tau\epsilon\varsigma$ от этого глагола. Для греков $\tau\epsilon\chi\eta$ – не искусство и не ремесло, а то, что заставляет что-либо проявляться в настоящем тем или иным образом. Греки думают о $\tau\epsilon\chi\eta$, как о производстве, позволяющем проявление. Трактующее таким образом $\tau\epsilon\chi\eta$ скрывается в тектонике архитектуры с незапамятных времен. В последнее время оно скрыто еще более решительно в техническом силовых машин. Но сущность строительного производства не может быть адекватно понята ни с точки зрения архитектуры, ни с точки зрения техники строительства, не от простого их сочетания. Строительное производство *также не было бы* адекватно определено, даже если бы мы думали об этом, исходя из первоначального значения греческого $\tau\epsilon\chi\eta$, *только* как о позволяющем проявление (*Erscheinenlassen*), которое привносит произведенное, как нечто настоящее, среди вещей, которые уже присутствуют.

Суть строительства в предоставлении жительствоваания (*das Wohnenlassen*). Суть строительства заключается в установке мест путем объединения их пространств. *Только если мы можем жительствовать, мы можем строить*. Представим сельский двор в Шварцвальде, который два века назад был построен для проживания крестьян. Здесь настойчивость силы, позволяющей простыми и легким путем допускать землю и небо, смертных и божественных в односложность вещи, удерживала дом в порядке. Двор размещен на защищенном склоне холма, смотрящем на юг между лугами, недалеко от родника. Дому дана широкая черепичная крыша, правильный наклон, которой нес груз бремени снега и защищал от штормов долгими зимними ночами. Не был забыт “красный угол” с алтарем позади общего обеденного стола; в доме были специальные освященные места для детской кровати и древа мертвых, так назывался гроб, допущенный в комнаты, и поэтому разные поколения были под одной крышей, как и вехи их жизни, отмеченные временем. Ремесло, которое возникло из жительствоваания, тогда еще нуждалось в инструментах и помостах как в вещах, которые помогали строить двор.

Только если мы можем жить, мы можем строить. Такой пример – крестьянский двор в Шварцвальде, к которому мы не можем, однако, вновь вернуться, но *былое* проживание может наглядно показать нам, как *оно* способно было строить.

Но проживание – это *фундаментальная черта* бытия, согласно которой смертные есть. Возможно, эта попытка размышлений о проживании и строительстве немного яснее покажет, что строительство принадлежит проживанию и как оно получает от него свою сущность. Но достаточным будет уже и признание того факта, что проживание и строительство являются *достойными вопрошания* и, таким образом, остаются *достойными мысли*.

Но само это мышление, как и строительство, только несколько иначе, принадлежит проживанию, что также было засвидетельствовано способом мышления, предпринятым здесь.

Строительство и мышление по-своему необходимы для проживания. Но и то, и другое являются недостаточными для проживания, если они действуют отдельно, а не прислушиваются друг к другу. Они способны слушать друг друга, если и строительство, и мышление принадлежат проживанию, оставаясь в своих границах и зная, что одно и другое, происходит из мастерской многолетнего опыта и непрестанной практики.

Мы пытаем мыслить о сущности проживания. Следующим шагом на этом пути будет вопрос: каково состояние проживания в наше беспокойное время? Со всех сторон и не без основания мы слышим разговоры о нехватке жилья. Об этом не просто говорят, но и принимают действия. Предпринимаются попытки исправить ситуацию путем поддержки жилищного строительства, планирования всей строительной отрасли. Каким бы трудным и горьким, сдерживающим и угрожающим не было отсутствие жилья, однако, *реальная проблема проживания* состоит не только в нехватке квартир. На самом деле бедственная ситуация проживания в действительности старше, чем мировые войны с их разрушениями, более древняя, чем рост населения Земли и проблемы положения промышленных рабочих. Настоящее бедствие заключается в том, что смертные всегда заново ищут природу проживания, но они *должны сначала научиться жить*. Что если бездомность человека состоит в том, что он думает о *реальном* дефиците жилья совсем не *как о* чрезвычайной ситуации? Но как только человек *обдумывает* бездомность, он больше не страдает. Эта бездомность, обдуманная и правильно учтенная – это единственный



вызов, который призывает смертных в свое жительство. Но как еще смертные могут ответить на этот вызов, если не попыткой *со своей* стороны вернуть жительство в полноту его сущности? Этого они достигают, когда строят, исходя из жительствоваания и думают ради жительствоваания.



<https://jfs.today> & <http://frontierstudies.com>

По всем вопросам сотрудничества и публикации материалов
обращаться по e-mail:

editorialboard.jsf[at]jfs.today or editorialboard.jsf[at]gmail.com

Телефон: +7 (988) 068-63-72



Это сетевое издание доступно по лицензии Creative Commons
«Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Вёрстка: Гончаренко Юрий Дмитриевич

© 2016 Журнал Фронтирных Исследований. e-ISSN: 2500-0225

In case you have any questions about co-operation please write an e-mail
the following address:

editorialboard.jsf[at]jfs.today or editorialboard.jsf[at]gmail.com

Phone: +7 (988) 068-63-72



This work is licensed under a Creative Commons «Attribution» 4.0
International License

Layout: Yuri Goncharenko.

© 2016 Journal of Frontier Studies. e-ISSN: 2500-0225